СЕРГЕЙ
АНТОНОВ

Васька

Д
4и9
ДАЕШЬ!

Сергей АНТОНОВ

Васька

ПОВЕСТЬ

Москва «Детская литература»
1990

ББК 84Р7
А72

ХУДОЖНИК
О. КОМИНАРЕЦ

А $\frac{4803010201-358}{M101(03)-90}$ 144-90

ISBN 5-08-001557-8

© Рисунки. О. Коминарец, 1990

1

Сменный прораб шахты 41-бис[1] Утургаули прыгал по заснеженным штабелям гравия и матюгался с грузинским акцентом.

Утро выдалось суматошное. На шахте ждали Первого Прораба. А разнорабочая Маргарита Чугуева самовольно покинула гравиемойку. Охранник уверял, что за ворота она не выходила. И на площадке ее никто не видел.

А Маргарита Чугуева притаилась в заброшенной будке недалеко от копра и, зеленая от ужаса, глядела в щелку.

В будке еще витала горемычная душа маркшейдера Гутмана. Он повесился здесь неделю назад, когда ему почудилось, что направление штольни неверно задано. И если бы не крайняя крайность, никто не загнал бы Чугуеву в эту халупу.

А на Чугуеву обрушилась беда.

Явилась эта беда в виде новичка-метростроевца. В нем не было ничего примечательного: жеваное, с вошебойки, пальто, грязная, когда-то белая лохматая кепка, мятое, в скопческих морщинках востроносое личико, сам левша. Он сидел на бочке цемента и привередливо, по-церабкоповски примерял однопалую рукавицу.

Заметив его, Чугуева почувствовала смутную тревогу. Она пробовала отвлечься работой. Тревога не унималась. Тогда она еще раз, уже внимательней, глянула на новичка, и ей показалось, что снег потемнел на строительной площадке. Она узнала. Это был тот самый активист, который переписывал в сибирской тайге раскулаченных переселенцев.

---

[1] Номера шахт Метростроя и фамилии персонажей (за исключением лиц исторических) вымышлены. *(Примеч. авт.)*

Она обвисла на лопате, и «газик», подавая задом, чуть не придавил ее.

— Тот самый... Активист...— бормотала она.— В кепке... Что делать-то?

Словно кино увидела Чугуева: кислое болото, щербатый лесок на дальней сопке, длинная шеренга кулаков да подкулачников, кашель по всей цепочке. А он — активист с острым лицом горбуна, хотя и не горбун — неловко, медлительно переписывает прибывших на фанерку.

Чугуева маялась в самом конце строя. Ноги погрузли в болото по косточку. Активист вызвал ее, приказал отгонять гнус. Он ходил от одного к одному, переписывал левой рукой данные — фамилия, с какого года, откуда выслан,— а она опахивала его осиновой веткой, ровно турецкого султана. На другой день отца выкликали, а ее нет. Может, потому и позабыли, что вышла из шеренги. Минула неделя. И решила она с отцова благословения бежать.

Пошла она таежной тропой незнамо куда. Зверя не боялась. Шла не таясь. Случалось, голодала так, что сама бы себя поймала за горстку горохового ритатуя. Чудом дошла до Омска, чудом нанялась в прислугу к заместителю председателя облисполкома. Примерно через год пересек ее путь разбитной вербовщик и записал на строительство метро в порядке организованного набора. Вербованных набилась полная теплушка, все почти такие же, как она. Пока ехали, многие разбежались. А ей было все равно. Как повалилась на нары, так и дотряслась до Москвы.

На Ильинке, в отделе кадров Метростроя, перехихикнулась она с рыжим, как кирпич, комсомольцем. Звали рыжего комсомольца Митькой. Он и написал ей всю документацию. Его до упаду веселило, что она не знает, что такое автобиография, и не помнит, чем ее родители занимались до семнадцатого года.

Ей вручили удостоверение личности, дали койку в общежитии, усиленное питание. И все-таки чудилось: сейчас подойдет сзади левша, стукнет левой рукой по плечу... С недоброй завистью поглядывала она на визгучих девчат, заигрывающих с ломовиками. Господи! Взял бы какой-

нибудь гужбан замуж, увез бы в деревню. Сменила бы фамилию, зажила чистой жизнью.

Работала Чугуева ловко, красиво, без отказа и приказа, вошла во вкус и стала позволять себе глядеть неположенные лишенке сны. Задремлет, опершись на лопату, и за минутку во сне замуж выйдет, четырех девчонок нарожает — все масть в масть, вылитые прораб Утургаули — и завязывает банты, гонит в школу...

Работящая девчонка полюбилась всем — и бригаде, и многоликому начальству. А когда провели в ударницы, услышала она тонкий голосок:

Ой, лазоревые плесы, золотые берега...

Огляпулась — рядом нет никого. Поняла, что ее уста сами поют, законфузилась, а до конца допела.

И вдруг — активист!

Она очумела от ужаса: ну вот, полный год выслеживал и выследил. Выследил и сел передохнуть. Потом образумилась: если выследил, зачем рукавицы примерять? Скорее всего, никакой он в данный момент не активист, а свежак, новичок, оформляется на метро, на ту же шахту, где и она, Маргарита Чугуева.

Она следила за ним в щелку, и колотило ее припадочно, как отбойный молоток.

«Может, к Митьке рыжему бежать? — паниковала она.— В ноги броситься?.. Куда там! Нынче он не Митька и не рыжий, а полный бригадир, товарищ Платонов. Теперь до него палкой не докинешь!»

Внезапно явилась мысль: в ноги не бросаться, а проситься к нему, к Платонову, в бригаду. Бригада Платонова орудует под землей, а под землей темно — никто не признает. И активист не признает. Платками замотаться — не признает...

А бывший активист, от которого во многом зависит, долго ли продолжаться нашей повести, поднялся с бочонка, прошел к окантованному инеем швеллеру и растворился, как привидение, в морозном пару, струившемся от свежих, только что поднятых на-гора ломтей юрской глины.

2

В тысяча девятьсот тридцать четвертом году на строительстве Московского метрополитена работало около семидесяти пяти тысяч человек. Среди этих семидесяти пяти тысяч были люди и с высшим образованием, и вовсе без образования, коренные москвичи и приезжие, мобилизованные, завербованные, переброшенные, посланные по комсомольским путевкам, пришедшие по вольному найму и сезонники.

Всей этой пестрой армией командовал инженер Павел Павлович Ротерт. Он изучал строительство подземок в Нью-Йорке, в Филадельфии, в Берлине, в Париже и заслужил доверие партии и правительства в годы работы на Днепровском промышленном комплексе. Начальнику Метростроя в помощь были приданы заместители — Абакумов и Айнгорн.

Потомственный горняк, Егор Трофимович Абакумов прошел на угольных шахтах Донбасса длинный путь — от забойщика до управляющего трестом. В метро он был брошен искупать антимеханизаторские грехи. И в авральные шестидневки его громоздкую фигуру видели на всех радиусах, на всех одиннадцати километрах, и казалось, будто под домами и площадями столицы бушевал не один Абакумов, а сорок тысяч Абакумовых.

Исай Григорьевич Айнгорн не бушевал. Не повышая голоса, он добился того, что все кирпичные заводы в радиусе тридцати километров работали только для Метростроя, и брусок кирпича стал в Москве такой же редкостью, как вологодское масло.

Таковы были руководители Московского Метростроя в тысяча девятьсот тридцать четвертом году.

Но не этих руководителей ждали на шахте 41-бис. На шахте 41-бис ждали особого начальника, начальника нового типа, начальника если можно так выразиться, нештатного, вернее сказать, начальника неначальствующего. Словом, ждали начальника, портрет которого по праздникам вывешивался рядом с портретом товарища Сталина.

Вся стройка, от землекопа до инженера Ротерта, вели-

чала этого начальника Первым Прорабом. А журналисты еще задушевней — Магнитом Метростроя.

Первый Прораб по заграницам не ездил и никаких метрополитенов сроду не видал. Но, стоило ему только появиться в забое, проходка вдвое ускорялась, и вагонетки бегали на предельной скорости.

От одного его присутствия ярче блестели электрические лампочки и быстрее твердел бетон.

3

Получив секретное предупреждение о Первом Прорабе, начальник 41-бис Федор Ефимович Лобода принял необходимые меры: велел Мите Платонову проверить, есть ли вода в бачках, послал нарочного будить заместителя по технической части и проглотил крепительную таблетку. Сердито кивнув вахтеру, Митя побежал к белеющему снежной тюбетейкой копру. Встреча с Татой опять ставилась под вопрос. Свидания с ней срывались уже два раза. Сперва кто-то насыпал гвозди в насос. Надо было искать вредителя. А через неделю на шахте загорелась изоляция. Снова пришлось звонить Тате, объяснять намеками, почему поход в кино отменяется. «Что у тебя там, пожар?» — перебила Тата. О таких вещах по телефону говорить не полагалось, и Митя повесил трубку. Тата была прямолинейная, как рельс.

Правда, Митя условился сегодня не на семь часов, а на восемь тридцать, и не все еще потеряно. «Сколько он может у нас пробыть? Ну, десять минут, ну, двадцать от силы...— подсчитывал Митя на ходу.— У него не мы одни: и МК у него, и ЦК, и Политбюро, и транспортная комиссия... Через полчаса прибудет...»

Закончить подсчеты не удалось. Словно из-под земли возникла Чугуева.

— Ну что у вас опять? — протянул он.

Еще днем она приставала, чтобы он принял ее к себе в бригаду.

— Возьми меня, товарищ Платонов,— загудела

Чугуева густым, виолончельным голосом.— Ей-богу, возьми... Я бы на молоток встала.

— Опять двадцать пять. На мойке стоишь? Чем не работа? Что тебя там, обижают?

— Обижают.

— Кто?

Она засопела.

— Кто обижает? Ну кто? Давай быстрей, время — деньги.

— Ломовики фулиганят,— пробормотала она и смутилась. Сама поняла, что причина не больно уважительная.

— Что, что? — переспросил Митя.

— За титьки лапают, вот что,— сказала она громко.

— А ты их лопатой. Небось с тремя справишься.

— Да-а, с ими справишься... Возьми, товарищ Платонов...

— Ты русский язык понимаешь? Нельзя. Утургаули тебя не отдает. А за то, что не отдает, ругай не его, себя. Больно хорошо работаешь. Ясно?

— Ясно... Возьми, Митя, а?

— Давай не поднимай этого вопроса. Вкалывай на мойке, а под землю не спеши. Придет время, все там будем. Договорились?

— Договорились... Возьми, товарищ Платонов...

— Ну куда? Куда я тебя с твоими габаритами возьму? Да ты там, в штольне, не развернешься, если хочешь знать...

«Поглядела бы Татка, как с кадрами работаем!» — усмехнулся Митя, опускаясь в клети.

И позже, в штольне, он не просто проверял бачки, не просто взбадривал уснувшего откатчика, не просто намекал бригадирам на грядущее посещение, а как бы изображал все это на сцене, постоянно ощущая оценивающий взгляд самого неподкупного зрителя — Таты.

Закончив инспекцию, он поднялся наверх, под студеное звездное небо. Фонарь в дальнем углу стройплощадки с казенной бессмысленностью освещал свалку трехслойной цементной тары. Митя увидел в узком окошечке церковки свет и, удивленный, остановился. Попавшая в зону пло-

щадки однолуковка была из тех, которые, словно растерявшиеся старушонки, покорно дожидалась гибели на автомобильных перекрестках. Митя предложил использовать пустую церковь для приготовления бетона. Предложение было дельное: можно и бетон месить в тепле, и цемент хранить под укрытием, и внутренние стены ломать на щебень, когда затрет с инертными материалами. За рационализаторское предложение Митю назначили бригадиром, затащили на алтарь бетоньерку «Рансом», подвели воду. Осталось провести электричество.

Работать там никто в эту пору не мог, а свет в окошке мерцал. Уж не забрался ли какой-нибудь энтузиаст с соседней шахты отвинчивать с импортной бетоньерки дефицитную шестеренку? Такое не раз случалось и, к сожалению, молча поощрялось руководителями, увлеченными соревнованием.

Митя тихонько подошел к окну и глянул через кресты кованой решетки. Конвульсивное керосиновое пламя пылающей ветошки едва освещало придел.

Возле бетоньерки стояла на коленях Чугуева и отвешивала поклоны.

Митя, лязгнув железной задвижкой, вошел в церковь и встал подбоченившись. Она поднялась.

— Чего ты делаешь? — спросил Митя спокойно.— Тебе что, не доводили до сведения, что бога нет?

— Доводили...— Она вздохнула судорожно, как вздыхают малыши, наплакавшись.— Сейчас пойду. А если уж и в небесах ничего не осталось, и ты меня под землю не берешь, скажи, что мне, дуре, делать? Что мне делать, товарищ ты мой драгоценный?

— Что делать? — Митя рассердился.— А вот что: Магнит прибудет, проси, чтоб ставили твой вопрос на Политбюро!

«Вот так, Татка, работаем с человеческим материалом,— похвастал он мысленно.— Когда — песочком, а когда — бодрой шуточкой!»

И побежал в контору. Морозец был крепкий. Снег соленым огурчиком хрустел под сапогами. Чугуеву постигла какая-то невзгода. Надо было внимание проявить, по душам побеседовать, подобрать ей антирелигиозную лите-

ратуру. Почитает, поработает над собой и перестанет креститься. В культпоход бы затащить, на какую-нибудь кукарачу.

Кукарача, кукарача,
А литературы недостача,—

сложились сами собой стишки. Митя прикинул на слух, вроде не совсем складно... Что все-таки с ней приключилось? Тихоня, на язык наступи — смолчит. А нынче словно с ума своротила. Может, с родителями беда, а может, забеременела? В метростроевской спецовке и родит — не заметишь...

Кукарача, кукарача,
А спецовки недостача.

Так вроде лучше. А с Чугуевой какая-то авария. Если разобраться, никакой причины уходить с гравиемойки у нее нет. Там она номер первый. С начальством лады. Девчонки смеются, что прораба Утургаули Чугуева обожает до немоты. Тоже нашла идеал — старика тридцатипятилетнего. Ухажеров не досталось, что ли?

Кукарача, кукарача,
Ухажеров недостача.

А так и вовсе хорошо. Как у Пушкина. Не забыть Татке продекламировать.

Самодельный стишок свой Митя забыл на пороге конторы. На пороге конторы забыл он и про Чугуеву.

Он еще не был достаточно подкован и не чуял, что полезно помнить, а что забывать.

4

В просторном зале конторы витал дух почтительного ожидания.

Федор Ефимович Лобода, кругленький, лысый началь-

ник шахты, помещался не за своим письменным столом, не в кресле, а на скользком венском стуле рядового служащего. Ампирное кресло было опростано для почетного гостя.

Длинноногий, декорированный значком «Ворошиловский стрелок», председатель шахткома, которого все так и называли — товарищ Шахтком, журавлем вышагивал между столами и заучивал какие-то данные.

Начальник заметно волновался. Волнение у него выражалось в беспрерывном говорении. Слушателем страдал заместитель по техчасти Бибиков, седой инженер в коротких брюках и апельсиновых носках.

В дверях прогремел блок. Товарищ Шахтком принял положение «смирно». Лобода оборвал фразу на полуслове. И, когда появился не Первый Прораб, а Митя, все рассердились.

— Ходят, ходят,— проворчал Лобода,— дверями гремят... На чем я остановился?.. Надо аккуратней ходить. Шуметь надо меньше. Фу-ты, шут... С мысли сбил...

— Вы начали про колобок,— напомнил Бибиков.

— Да, да, обожди, обожди! — заторопился начальник.— Подходит после совещания, дает реплику: «Ну, как, говорит, колобок, крутишься?»

— Это вы уже говорили,— сказал Бибиков.

— Обожди, обожди! Запросто, понимаешь? «Ну, как, говорит, колобок, крутишься?» Так я стою, а так он. «Ну, как, говорит, колобок, крутишься?» Я, конечно, растерялся. Шут его знает, как в таких случаях рекомендуется реагировать. Вот так я стою, а так — он. Ну, думаю, пан или пропал. «Вращаюсь, говорю, по силе возможности!» Смеется...— Лобода сделал длинную паузу, стараясь справиться с подступающей слезой умиления.— Смеется... «Гляди, говорит, чтобы голова не закружилась».

— Многогранный руководитель,— сказал Бибиков.— Титан.

— В чем и дело! — Лобода громко высморкался.— Титан! Многогранный!.. Да, товарищи, учтите: как прибудет — в карманы не лазить. Ни за папиросами, ни за чем. Есть такое указание.

Митя сообразил, что речь шла о Первом Прорабе. И простая мысль ошеломила его: ведь Первый Прораб имеет право опоздать и на час, и на сутки, не обращая внимания ни на Митину свиданку, ни на Лободу.

— Федор Ефимович,— заныл он.— Мне отгул положен. Мое присутствие, я думаю, не обязательно.

— Вот она, нынешняя молодежь! — качнул головой начальник.— Ждем, можно сказать, титана, а у него отгул. Я прошлый год с аппендицитом в пузе прискакал на него глянуть...

— Чего на него глядеть? Что он, крокодил? — возразил Митя. Ему недавно стукнуло семнадцать. Комсомолец он был еще зеленый, и с его языка иногда срывались непродуманные выражения.

Наступила ледяная тишина.

— Надо так надо,— поспешно поправился Митя и тоскливо взглянул на часы, украшавшие ослепительно белую изразцовую стену конторы. Недавно здесь размещался мясной магазин, могучие крюки, рассчитанные на тяжесть свиных и говяжьих туш, торчали между канцелярскими шкафами.

Часы показывали семь десять.

— А помнишь, как он Гусарову явился? — спросил Лобода.

Инженер Бибиков вздрогнул. Он откровенно клевал носом. От хронического недосыпа заместитель по техчасти выглядел неумытым, алчущим опохмелки отставным актером, и ни интеллигентная стеклянно-серебряная бородка, ни старомодная ленточка пенсне не могли сгладить этого впечатления.

— Помнишь, Гусарову явился? Свая ни туда, ни сюда, Гусаров кроет по-церковнославянскому. А он — вот он и он. Другой бы сгоряча за нецензурку, а он: «С тебя гривенник, Гусаров».— Губы Лободы задрожали, и он полез в карман за платком.— Вот она где, чуткость,— проговорил он умиленно.— Вот она где!

— Титан, титан! — бормотал Бибиков.— Ничего не скажешь!

— У них комсомольцы назначили штраф за матерщину,— робко пояснил Митя.

— У них, понимаешь, комсомольцы наложили штраф на матюки,— объяснил Лобода, игнорируя и Митю и его комментарии.— Вот он и говорит: «С тебя гривенник, Гусаров».

Возникло молчание. Каждый, как пишут в нынешних романах, думал о чем-то своем.

— А совещание в горкоме! — испугавшись, что чуть было не забыл исторического факта, воскликнул Лобода.— Гусаров докладывает: «Заложение — шестнадцать шестьдесят». А он без шпаргалки, с лету: «Не шестнадцать шестьдесят, а шестнадцать шестьдесят пять».

— Самородок! — откликнулся Бибиков.

— В чем и дело! — подхватил Лобода.— Небось заложение нашей шахты лучше тебя знает... Да, товарищи, учтите, станет здороваться — руку крепко не жать! Есть такое указание!.. А на двадцать первой, помнишь, что учудили? Лампочки выкрутили, чтобы не видать было. А он идет в темноте и дает конкретные указания. Ему света не надо! Без свету скрозь землю видит. Даром что на строителя не учился!

Товарищ Шахтком принял положение «смирно» и сказал:

— Не случайно страна назвала его Первым Прорабом!

Он был заикой. Самая простая фраза, особенно если она начиналась на «н», давалась ему с трудом. И все же смолчать при таком разговоре он не решился. Его молчание могло быть неправильно истолковано.

— Он, говорят, сапожником был при царе,— старался восстановить расположение начальства Митя.

Лобода туго обернулся. Во взгляде его было что-то болезненное. Так мать, жалеючи, смотрит на неудачное чадо свое.

— Воду проверил? — спросил он скорбно.— В бачках хоть вода-то у тебя есть?

— Вода есть, Федор Ефимович. Только возле сто пятой кто-то кружку унес.

— Что значит — унес? Она на цепке.

— Оторвал и унес. Совместно с цепкой. Я, Федор Ефимович, велел все молотки, какие есть, запустить. И с долотами, и без долот. Для шума.

— А вот это ты...— начал было Лобода, но дверь хлопнула.

И снова товарищ Шахтком застыл в неподвижной стойке, снова начальник забыл, что хотел сказать, и снова в контору вошел не тот, кого ждали.

В конторе появилась Чугуева.

Работала она возле воды, на гравиемойке. Грузную, крупнокалиберную фигуру ее обтягивал дефицитный каучуковый комбинезон, и она чем-то смахивала на водолаза. На ней были плоские, как лопаты, рукавицы и каучуковая штормовка. Вразвалочку, будто одна нога в туфле, а другая босая, протопала она, чмокая дырявыми сапогами-метроходами, мимо начальства и нелепо встала посреди зала.

— Куда, куда! — вскрикнул Лобода, с ужасом взирая на рубчатые следы, заляпавшие пурпурную ковровую дорожку.— Куда, куда! Куда, куда, куда!

Дорожка была выпрошена взаймы в соседней библиотеке и тянулась от порога до ампирного кресла по кратчайшему расстоянию.

— Николай Николаевич! — кричал Лобода.— Ну чего же вы? Что за безобразие? Кто это?

— Наша. С мойки,— отозвался Бибиков.— Простите, матушка, а без спросу врываться не полагается.

— Врываются, понимаешь! — воскликнул Лобода.

— Прошу немедленно выйти,— продолжал Бибиков.— Будьте любезны. У нас срочное совещание.

— Совещание, понимаешь! Врываются!

Чугуева бессмысленно глядела в воздух и не двигалась с места.

— Что с вами? — спросил Бибиков с опаской.

Он иногда нанимал Чугуеву мыть полы в своей квартире. Увидев, кто подошел, она радостно засопела.

— Просьба,— проговорила она низким приятным голосом, сняла рукавицу и вытащила из нее грязный лоскут бумаги.

— Просьбы, голубушка, подают бригадиру.— Бибиков тряхнул бумагу за уголок. Листок развернулся.— А бригадир перешлет начальнику шахты...

— А ну их! — Чугуева махнула на Лободу рукавицей.— Мне их не надо. Мне самого надо.

Митя оцепенел. Похоже было, что она всерьез приняла его бодрую шутку.

— Кого самого? — вскинулся Лобода.— А ну давай, очистить помещение. Давай, давай! Сейчас совещание прибудет... Тьфу! Совещание будет! Давай, давай, давай!

— Так у меня же просьба,— проговорила Чугуева.

— Хорошо, хорошо, голубушка,— ворковал Бибиков.— Будьте любезны. Просьбу рассмотрим. А вы будьте любезны.

— Рассмотрят просьбу! — восклицал Лобода.— Давай отсюда! Давай, давай... Давай, давай, давай! Будьте любезны! Давай, давай!

Чугуева стояла как вкопанная.

— А что с ней миндальничать! — Лобода подошел к Чугуевой.— С ними как с людьми, а они допускают хамство на каждом шагу. А ну, будь любезная, давай отсюда.

— Хоть с нагана стреляй, не пойду! — сказала Чугуева шепотом.

— Ну, ладно.— Лобода поплевал на ладони.— Ты так, тогда и мы так.

Он ловко, будто век вздымал телеграфные столбы, уперся ударнице в спину и, поднатужившись, приказал:

— Бригадир, пособи!

Пособить Митя не успел. На пороге стоял брюнет в твердой фуражке, как две капли воды похожий на свои утвержденные портреты.

Это давно ожидаемое явление оказалось настолько некстати, что Лобода, приветливо улыбаясь, все-таки подпирал Чугуеву, будто приглашая дорогого гостя затянуть дубинушку.

А контору неправдоподобно быстро заполняли люди. В коверкотовых пальто, в прорезиненных макинтошах, в кавалерийских шинелях и брезентовых спецовках, они жались, проталкивались, наступали друг другу на ноги, и в

беспокойной человеческой волне мелькали утопающие головы Ротерта и Абакумова. Первый Прораб любил и умел острить, и на него смотрели с приготовленными для будущих шуток робкими улыбками.

Он оценил ситуацию сразу.

— Что, колобок? — раздался его свежий баритон.— Не совладать с рабочим классом? И никогда не совладаешь! И никому не совладать!

И рванул рукой вниз, будто стряхнул градусник.

В толпе засмеялись. Хотя задние напирали, вокруг Первого Прораба сохранялся магический цилиндр пустого пространства.

— Обижают? — весело обратился он к Чугуевой.

Первый Прораб был в чудесном настроении. Товарищ Сталин только что вызвал его к себе (вождь был простужен, и врачи запретили ему заниматься государственными делами), угостил хванч-карой и одобрительно отозвался о его речи. Первый Прораб выехал из Кремля на два часа позже наркомовского графика и велел везти себя прямо на шахту. Трудовой энтузиазм проходчиков еще больше воодушевил его. Под землей бушевала битва. Комсомол сражался с подземной стихией. Пулеметами трещали отбойные молотки. Танковым грохотом гремели вагонетки, чаще пустые. Раздавались команды. И парторг был на передовом посту.

От шума у Первого Прораба заложило уши.

— Вода в бачках есть? — спросил он.

— Есть! — радостно закричали со всех сторон.

Первый Прораб приказал поднять себя наверх и явился в контору с жаждой говорить и действовать.

И вот он стоял, окруженный людьми, и перед ним сопела похожая на водолаза девица.

— Что это? — кивнул он на грязную бумажку.

У него было матово-бледное, неземное лицо и карие глаза, до того пронзительные, что казалось, будто они косят.

Чугуевой шептали со всех сторон, подсказывали.

— Что это? — повторил Первый Прораб. Он взглянул внимательней, увидел туго повязанную платком голову, мокрые от слез мягкие щеки, напирающие на крупный нос.

Под его взглядом Чугуева поворотилась бочком и заманчиво выгнулась. «Боже,— испугался Бибиков,— она еще и гран-кокетт!»

— Просьба у нее...— не удержался Митя. Было уже без пяти восемь.

— Просьба? — Первый Прораб нахмурился. Резкие переходы от благодушия к гневу были особенностью его характера.— Видите, товарищи, просьба! Просьба, которую можно решить в считанные минуты. А что делает руководство? — Он обвел присмиревших слушателей косящим взором.— А руководство вышибает трудящихся за двери. Вот к чему приводит головокружение от частичных успехов, товарищи!

— Позор! — отметил кто-то.

— Позор, товарищи,— подхватил Первый Прораб,— командиры шахты не поняли, что к ним обратилась не просто рядовая работница. Перед нами не просто работница. Перед нами член ударной бригады мирового пролетариата...— Тут Первый Прораб заметил, что участница ударной бригады куда-то пропала. Впрочем, он привык к тому, что люди, нарушавшие плавный ход державной деятельности, иногда бесшумно исчезали из поля зрения, и не удивился.— Перед нами,— продолжал он,— один из тех, кто вывел Советский Союз на передовые позиции в техническом, экономическом, военном и культурном отношениях, один из миллионов трудовой когорты, которая под руководством вождя и учителя трудящихся всего мира...

Заключительные слова потонули в аплодисментах. Инженер Бибиков крикнул «ура». Несколько блеклых канцелярских голосов подхватило. Получилось слабо, не в лад, как на затянувшемся банкете.

«Все наконец»,— подумал Митя.

Первый Прораб шагнул к двери, остановился, взглянул на Лободу и спросил отрывисто:

— Как фамилия?

— Лобода, товарищ секретарь...

— Да не ваша!..

Лобода догадался, что нужна фамилия ударницы, и оглянулся на Бибикова. Инженер замялся. В моз-

гу назойливо вертелось прозвище Васька, а фамилия на язык не давалась. И только вспомнилась, председатель шахткома, стоявший в положении «смирно», выговорил:

— Васька!

— Как? — грозно нахмурился Первый Прораб.— Васька? Почему Васька?

Все молчали.

— Чугуева ее фамилия,— не вытерпел Митя. Часы показывали двенадцать минут девятого.— Васькой ее прозвали. Произвели в мужской род.

Чело Первого Прораба разгладилось. Он улыбнулся:

— В мужской род произвели?

— Ну да. Она в комбинезоне шла, шофер обознался, крикнул: «Васька, крутани!» В штанах — значит, Васька. С той поры и пошло: Васька да Васька.

— А как с машиной? Завела?

— Завела. Чего ей. Разбудила с одного оборота.

— Разбудила? — Первый Прораб оглядел Митю сверху вниз и снизу вверх, словно снял мерку.— А ты кто такой?

— Я? Платонов.

— Не Васька?

— Не Васька. Дмитрий.

— А по должности?

— Бригадир проходчиков.

— И временно исполняет обязанности комсорга,— уточнил Лобода.

— А комсорг где?

Снова возникла заминка. Комсоргом был самоубийца маркшейдер, однако происшествие с маркшейдером Лобода в свое время скрыл и теперь не знал, как отвечать.

— Комсорг повесился,— сказал Митя.

— А! Мне эта история известна.— Первый Прораб нахмурился.— Что же вы не ставите Платонова комсоргом?

— Недодумали,— сказал Лобода.— Недоглядели...

— Кадры маринуете! Вас учат не бояться выдвигать молодежь!

Первый Прораб протянул Платонову руку.

Митя пожал ее как положено. Мягко. И Первый Прораб отбыл.

Контора опустела. Остались только руководители шахты, Ротерт и Абакумов. Они сбились в кучу, голова к голове. Митя вышел на улицу, поехал к церкви Флора и Лавра и, конечно, опоздал. На сугробе было нацарапано: «Тебя нет. Я ушла».

— Вот черт лысый! — ругнул Лободу Митя.

Как бы он поразился, если бы узнал, что свидание сорвали не Лобода и не Первый Прораб. Как бы удивилась Тата, если бы ей сказали, что в опоздании Мити виноват вождь мирового пролетариата.

Но ни Мите, ни Тате этого никогда не суждено было узнать, так же как и все мы не знаем истинных причин наших удач и несчастий.

5

В следующий раз Митя принял все меры, чтобы не опоздать на свидание, и опоздал опять. Пробившись в трамвай, он был уверен, что на этот раз поспеет вовремя. Он ехал и прикидывал, с чего начать хвастать: с того ли, как Первый Прораб прощался с ним за руку, или с того, что перепуганный Лобода выделил ему отдельный кабинет.

Погрузившись в размышления, он не сразу сообразил, что трамвай, обязанный везти его к Тате, стоит, и стоит давно. Никто не выходил. В те годы вагоны забивались до отказа. Вылезешь, потом не влезешь.

— А я тебе говорю, пути просели,— объяснял один пассажир другому.— Метро копают — пути садятся. Моли Христа, что в яму не загремел.

— Мы привыкши! В нашем дому двери сами отворяются. Ровно нечистый дух бродит.

— Это что! У нас, на Остоженке, рюмки в шкафу чокаются. Ей-богу! По своей инициативе.

— Метро чертово! Всю Москву разрыли...

Митя пробился на переднюю площадку, увидел длинную трамвайную пробку, ахнул и бросился на стоянку так-

сомоторов. Машин не было. У пустого места мерзла унылозлая очередь. Митя зашагал пешком, поминутно оглядываясь, не мигнет ли, на счастье, красный огонек. На Рождественском он понял наконец, что опоздал, и опоздал безнадежно. Все-таки он свернул на Юшков и пошел поглядеть, не написано ли что-нибудь на сугробе. Он вышел на Мясницкую и глазам не поверил. Тата в каракулевом манто и в заячьей ушанке близоруко читала мхатовскую афишу.

— Руки вверх! — крикнул Митя.

Она сказала грустно:

— Господи, какой глупый!

В этот вечер на лице ее были заметны следы стойкой взрослой грусти, но Митя не мог не похвастаться о новой должности, о Первом Прорабе, о кабинете. Тата слушала бесчувственно. Тогда он соврал, что в кабинете у него будет телефон.

— Перестань городить чепуху,— сказала Тата.

Митя надулся. Причиной Татиного недоверия, подозревал он, было прошлогоднее событие.

Это событие стоит того, чтобы о нем рассказать.

Митя был круглым сиротой. Отец его, двадцатипятитысячник, погиб в 1930 году во время кулацкого мятежа. Смышленый мальчуган около трех лет находился при правлении колхоза кем-то вроде делопроизводителя и бегал за шесть верст в школу. Однажды в деревню прибыл московский журналист. Митя рассказывал ему о коллективизации так складно, что журналист окрестил его Златоустом и забрал к себе в Москву, в домик на Рыкуновом переулке. В тех местах москвичи снимали на лето дачи. Детей у журналиста не было. Он неделями пропадал в командировках, а жена его, Лидия Яковлевна, пекла пирожки с луком, ходила с гостинцами к брату и брала с собой Митю. Брат ее был профессор. В его кабинете висела надутая, словно футбольный мяч, японская рыбина. Митя и не заметил, как очутился под покровительством дочери профессора, крайне принципиальной Таты. Она лихо опровергла библейские чудеса, рассуждала о бесконечности Вселенной и велела Мите читать «Анну Каренину» по главе в день. Иногда Митю

раздражало ее самоуверенное упорство, и они ненадолго ссорились.

Так прошли полгода, самые счастливые в его жизни. Он бегал на рабфак, гулял с Татой, а по выходным увязывался с Лидией Яковлевной на рынок. Все оборвалось после того, как журналист привез из командировки очередного пацана-самородка. В первый же день новый обитатель Рыкунова переулка подрался с Митей. И хотя Митя был не виноват, Лидия Яковлевна взяла на рынок не его, а пацана. Ночью Митя вылез в окно и ушел от журналиста навеки.

Долговязый парень Шарапов устроил его в мастерскую при кладбище, на отеску надгробных плит. Друзья не брезговали и другой работой: долбить зимой могилы, закапывать покойников, подряжались сторожить венки. Шарапов несколько напоминал шекспировского могильщика и обожал прощаться с родственниками только что закопанного покойника многозначительным:

— До скорого свидания!

Митя тоже любил пошутить. На этой почве они сошлись, хотя Шарапову было двадцать пять лет, а Мите шестнадцать. В свободные вечера забредали они в безлюдный переулок и начинали забавляться. В ту пору в Москве расплодилось много пугливых. Особенно быстро и, можно даже сказать, охотно пугался товарищ, проверенный на хозяйственной работе. Стоило к нему подойти с двух сторон, уважаемый товарищ столбенел и по собственной инициативе отстегивал часы или вытаскивал припрятанные от жены купюры.

Тут начиналось гала-представление.

«Никак нас с тобой за ширмачей посчитали?! — со слезой произносил Шарапов.— Да что же это, граждане дорогие! На бульвар не выйти! Вкалываешь, вкалываешь, кубатуру гонишь, а тебя за уркача признают. Кому ты деньги суешь, троцкист недобитый? Думаешь, руки в мозолях, значит, не люди? Чего ты мне свои червонцы суешь? Считаешь, государство меня не обеспечивает? А? Вона что, запужался! Да какое ты, холера, имеешь право меня пужаться, когда я член профкома с двумя благодарностями от покойников и ихних родственников! Зажрался по

ноздри, сука драная! Газуй куда шел, а то поздно будет! Вредитель! Оппортунист!» — выкликал Шарапов вслед ошалевшему товарищу, а Митя в полном восторге приседал от смеха.

По сведениям, которыми располагает автор, эти забавы были в высшей степени невинны. Друзья не присваивали ни вещей, ни денег. Во всяком случае, Митя не позволял себе брать ничего, и не только потому, что он положительный персонаж повести, а еще и потому, что ему довольно быстро становилось жалко малокровных ответработников.

Как-то на Чистопрудном приятели нагнали девушку. Девица была как девица: мальчишечья ушанка набекрень, челка до бровей, стоячий воротничок до носа. В кулачке портмоне, замкнутое на два шарика, и служебный пропуск. Брови не крашены. Заочница какая-нибудь.

Читатель, вероятно, догадался, что это была Тата. Беда в том, что не сразу догадался Митя.

К женщинам они обычно не приставали. Женщины не понимали юмора. Однако, поскольку клиентов не попадалось, друзья стали шутливо командовать в такт мелким девичьим шажкам: «Ать, два, три, ать, два, три». Заочница пошла быстрей. И они быстрей. Заочница затормозила. И они тоже.

— Принцесса,— спросил Митя,— легаша на углу нет?

— Не видала,— ответила она спокойно.

Митя взглянул на твердый носик, стоящий на воротнике, и осекся. Он знал, что рано или поздно встретится с Татой, но поверить в такую встречу у него не хватило сил. Все же он чуть отстал.

— Что да что в кошелке? — не унимался Шарапов. Он имел две благодарности и любое дело привык доводить до конца.

— Билет в звуковое кино. Будут еще вопросы?

Татин голос. Татина ирония! Митю она, кажется, еще не узнала.

— А кроме билета? — приставал Шарапов.

— Кроме билета, ничего интересного. Попусту тратите время, граждане.

Митя дернул приятеля за рукав. Тот отмахнулся. Ему понравилась непреклонная девчонка.

— Какая картина? — спросил Шарапов.

— «Веселые ребята».

— Врешь! Сколько билетов?

— Один. Я, к сожалению, на вас не рассчитывала.

— А ну предъяви.

Митя не выдержал. Он зашел за скрипучий фонарь и крикнул:

— Отваливай, понял?!

В этот момент Мите показалось, будто вдоль длинной аллеи хлестнула ослепительная молния. Это на бульваре врубили электричество. Электрическая молния застыла неподвижной огненной цепью.

Тата подошла к Мите близко-близко, до того близко, что он почуял на щеке чистый ветерок ее дыхания. И услышал:

— Так и есть. Он!

Это было давно. А и теперь, когда внезапно зажигается свет, Митю перекашивает судорога.

Как случилось, что они с Татой оказались вдвоем, он не помнит. Он врал, что работает в «Совкино», что учится на артиста, что с Шараповым познакомился всего час назад. Тата не перебивала.

Прощаясь возле кино, Митя сказал:

— Заливаю я тебе, Татка.

— Я знаю,— ответила она.

— Работаю на могилках. Жмуриков закапываю. Ясно? — Он криво усмехнулся и добавил: — Лидии Яковлевне не болтай. Ладно?

Тата обещала не болтать.

Так они познакомились снова, на этот раз основательно. Тата помогла ему восстановиться в комсомоле, помогла устроиться на Метрострой, и жизнь Мити вернулась в нормальную колею.

Они назначали свидания у церкви Флора и Лавра и всегда шли по одному и тому же маршруту, в один и тот же кинематограф и говорили примерно одно и то же.

Они шли по зимней, онемевшей аллее. На снежной дорожке отблескивали тусклым холодцом скользкие

ледянки. Тата опасливо обходила их, но взять ее под руку Митя не смел. Она считала, что «цепляться» — такой же мещанский пережиток, как, например, помолвка. А Митя в глубине души подозревал, что она стесняется его гнедой масти. Давно еще, когда он в слезах прибегал со двора, задразненный «рыжим» и «конопатым», мать утешала его, что локоны с возрастом потемнеют, станут каштановыми, как у отца. Мама умерла, отец погиб, а жесткие мохры упрямо держали мандариновый колер, да и веснушек не уменьшалось и в зимнюю стужу. «Подумаешь! — внезапно возмутился Митя.— Меня Политбюро уважает, комсоргом ставят, а она брезгует?! Не хочет, нечего и в кино ходить»,— и рывком притянул Тату к себе.

Она печально взглянула на него и машинально примерилась к его шагу.

— Тебе не холодно? — спросил он.

— Нет.

— И мне нет.

Вечер был студеный, чистый, прекрасный. По снежной дорожке удлинялись клевками две тени, его и Татина, сливались воедино и сходили на нет до следующего фонаря. В черном небе кутенком опрокинулся молодой месяц. Как все-таки мало надо человеку! Стоило Тате довериться, и Митя вспомнил, кто он такой. Надежный бригадир первой столичной стройки, парень — не отличишь от коренного москвича: кожаная шапка-финка, полупальто с косыми карманами, белые бурки с кожаным кантом.

Он вспомнил, что всем этим хотя бы частично обязан Тате, вспомнил, что она ни разу не попрекнула его за прошлое, не ждала никаких объяснений. Ему захотелось поблагодарить ее, сказать что-нибудь доброе, глупое... И, когда поравнялись со скрипучим фонарем, он прижал ее руку и шепнул:

— Помнишь?

— Ты «Бориса Годунова» читал? — спросила она грустно.

— А как же.

— Помнишь, что посоветовал Шуйский Воротынскому?

— Воротынскому? А что? Мы Воротынского не проходили.

— А то, что не все желательно помнить.— Тата сделала менторскую паузу.— Кое-что полезно и забывать... Как ты думаешь, ледоколы долго ремонтируют?

Митя ругнул себя за легкомыслие. Ведь он знал, что отец ее уплыл в северные моря, что корабль раздавило, а команда высадилась на плавучую льдину где-то возле Северного полюса. Он попробовал утешить: на помощь экспедиции двинулись аэросани, самолеты, корабли, собачьи упряжки. Слепнев поехал в Америку покупать самолеты. Обсуждается вопрос о посылке дирижаблей. А самое главное — создана спасательная комиссия под председательством товарища Куйбышева.

Тата молчала. Непонятно было, слушала она или нет. Впереди показалось отлично отшлифованное ледяное зеркальце. Митя покосился на него и спросил:

— Как все-таки этого «Челюскина» угораздило затонуть?

Тата взглянула на него с изумлением:

— Неужели тебе не ясно? Вредители.

— Ты что? Какие на Северном полюсе вредители?

— Откуда я знаю? Вредители значков не носят.

— Что же ваши капитаны глядят? Мы тут, на суше, с врагом в два счета расправляемся.

— Ты нашел, кто гвозди в насос насыпал?

— Найдем.

— Ну вот!

— А я тебе говорю, найдем! За своих ребят я голову кладу. У меня знаешь как дело поставлено? Скажу: братва, остаемся в ночь — и точка. В других бригадах базарят, а у меня — ша! Я не выхваляюсь, а говорю как есть. Меня ребята уважают. Потому что не выламываюсь, к людям отношусь как товарищ к товарищу. Недавно подкинули мне чудика на исправление. Недоносов ему фамилия. Звать Осип. Бедолага, видать, навроде меня, сирота-одиночка. Подумал, подумал, какой к нему подход? И хлоп ему даровой билет в «Аврору»...

Он взглянул на грустную Тату и виновато осекся.

— За отца не тужи,— продолжал он, помолчав.— Ему там северное сияние светит, шамовки у них на три месяца. Небось сидит на торосе и пишет научный труд про осетра и супругу его осетрину.

— Ты на Севере был? — остановила его Тата.

— Был.

— Где?

— Ну не был. А что?

— Ты не понимаешь, что такое кораблекрушение на Севере. Гоша рассказывал, что они работают до обмороков. Как на каторге.

— Чего они там делают? Метро роют для белых медведей?

Она промолчала.

— Я смеюсь... А кто это Гоша?

— Я тебе уже сто раз говорила. Сосед. Стихи пишет.

— Это с ним ты на «Встречный» ходила?

— С ним... Они ужасно много работают. Строят бараки. Ровняют площадку для посадки самолетов. Торосы рубят. А папа абсолютно не приспособлен к физическому труду. Здесь, на субботнике, и то умудрился палец вывихнуть.

— Сколько их там?

— Около ста человек.

— Это Гоша сказал?

— Нет. Я сама читала.

— И льдина не тонет? Держит сто человек?

Тата невесело рассмеялась:

— Держит, Митенька, держит. И барак держит, и радиостанцию, и провиант, и самолет выдерживает.

— Свой самолет у них?

— Да. Поломанный. Не летает.

— Вот это так льдина! А шамовку как раздают? От пуза или, как у нас, по карточкам?

— Какое это имеет значение?

— Ясно, никакого... Я смеюсь... Ты, главное, насчет отца не переживай. Он у них предмет дефицитный. Запакуют в меховой мешок и караул поставят — медведей отгонять.

— Повторяю, они там работают, работают до изнеможения. Они ровняют площадку, строят настоящий аэродром. Недавно у них был товарищеский суд. Кто-то отказался покинуть палатку по авралу. Не хватило сил. Представляешь?

— Ну и что?

— Его судили. И я боюсь, что это... Ты куда?

Как было упомянуто, вдоль дорожки бульвара темнели соблазнительные ледянки. Митя старался не смотреть на них. И вдруг какой-то пацан бочком профуганил по длинному ледяному зеркальцу так ловко, что стерпеть не было никакой возможности. Митя разбежался, пролетел метра три ангелочком и чуть не клюнул носом в снег. «Гоша себе бы этого никогда не позволил»,— прозвучала в его ушах Татина фраза.

Однако она не произнесла этой фразы. Она печально дождалась его возвращения и договорила:

— Боюсь, что это был мой отец.

Они шли берегом замерзшего пруда. У низкой ограды замигали красные буквы «Берегись трамвая», волнисто запела проволока, и трехвагонный поезд, вылущивая ломкие, злорадно сжигавшие себя искры, с аварийным скрежетом прогрохотал к Покровке.

— Это что, тебе тоже Гоша сказал? — спросил Митя.

— Нет. Это из других источников.

— И к чему его присудили?

— Отправить на берег в первую очередь. Если это правда, я уеду... Я в Москве не останусь...

— Знаешь что, Татка, у следователей такой закон: пока на руках нету фактов, не марай человека. Хоть он тебе отец, хоть кто... Про Недоносова тоже трепались, что по карманам шарит...

Был тогда неподалеку от Чистых прудов кинематограф. Раньше он назывался «Волшебные грезы», потом «Аврора». Тяжелые, мореного дуба двери. По обеим сторонам бетонные вазы, наполненные песком, чтобы трудней было опрокинуть.

Пока Митя искал билеты, Тата потянулась читать правила поведения в общественных местах, утвержденные

Моссоветом. У нее была страсть прочитывать все, что вывешивают на стенах.

Когда Митя пошел, чтобы оттащить ее, на глаза ему попалась мохнатая кепка. Он пригляделся. Так и есть. Осип Недоносов торчал возле тугоплавко изогнутой трубы, отгораживающей очередь к кассе.

Митя встал за его спиной бесшумно.

— А вот билетик! — как на толкучке, выкликал Осип.— Билетик имеется!

— А совесть у тебя имеется? — перебил Митя.

Осип обернулся, осклабился половиной рта. Грозный вид бригадира ничуть не испугал его. Тусклые, будто раздавленные глаза глядели из-под ломаного козырька.

— Сколько настоящих ребят кино поглядеть мечтают, а ты что? — тихо, чтобы не услышала Тата, процедил Митя.— Маклачишь? Позабыл, где работаешь?

— Почему позабыл? — удивился Осип.— На метре.

— А на метре не спекулянничают! Получил билет, садись и смотри!

— А ежели у меня чирей? — спросил Осип.— Мне сесть не на что.

Очередь засмеялась.

— Ну, чирьяк вскочил,— объяснил Осип серьезно.— Какой может быть смех?

— Ладно, погоди. Завтра перед бригадой отчитаешься! — пригрозил Митя.— Бригада дерется за знамя радиуса, а он маклачит. Ни ребят, ни себя не уважает.

— А с чирьями у вас тоже на работу гоняют?

— Тебе что, отгул надо? Утомился, стоявши? — Митя забыл о Тате и говорил во весь голос. Негодование захлестнуло его.— Утомился?

— Утомился,— согласился Осип.— Чуть не час околачиваюсь. Не берут. Два бы билета враз взяли, а один не берут. Другой раз два давай, с одним ходить никакого расчета нету... Мадама, билетик не надо?

Митя схватил его за плечо, повернул к себе и замахнулся. Дама взвизгнула.

— А ну вдарь.— Осип закрыл глаза и сунул левую руку поглубоко в карман.

Хорошо, что Тата встала между ними. Если бы не она, свежий комсорг не оправдал бы высокого доверия.

— Где билет? — заторопилась она.— Прекрати, Митя! Я беру, беру! Давайте! Беру! Митя, прекрати!

Прищемив билет губами, Осип пересчитал деньги.

— А теперь слушайте меня внимательно,— остановила его Тата.— Этот билет я вам дарю. При свидетелях. Берите, не стесняйтесь. И потрудитесь просмотреть картину до конца. Когда мы увидимся снова, попрошу рассказать содержание.

— Это еще что! — рванулся Митя.

Осип поглядел на него, проговорил озабоченно:

— Не бойся. Не отобью.

Тата прыснула. Ей было неведомо, сколько хлопот доставит им этот уродец в лохматой кепке.

6

Через неделю после исторического посещения жизнь на шахте вошла в обычную колею.

Утром Федор Ефимович распорядился вернуть ковровую дорожку в библиотеку, переслал длинный чертеж с надписью «Внимание! Американская проекция» инженеру Бибикову и, расположившись в мягком кресле, стал глядеть на забитый папками шкаф.

На шкафу давно пылилась фигура атлета, выполненная по заказу авиахима из папье-маше. Темные пятна на теле нагого Антиноя обозначали самые уязвимые места при поражении ипритом. Федор Ефимович привычно задумался о близкой войне, о бдительности, и влажные глаза его заволоклись служебной дремотой.

Стол начальника стоял в глубине большого зала, наполненного техниками, лаборантами, нормировщиками и чертежницами. Федор Ефимович вынул из бронзового кубка карандашик, положил перед собой чистый лист бумаги и стал дожидаться, когда что-нибудь напишется. Бездельничать на глазах у всех было неловко, а проявлять производственную активность Федор Ефимович опасался: номера проката, типы насосов, юрские горизонты, американские

проекции были для него книгой за семью печатями. Однажды он распорядился пускать в дело цемент без испытания кубиков, и всей шахте пришлось три дня выламывать бракованный свод. А всезнайка Бибиков на каждом углу стал рассказывать про древнекитайского императора Шуня. Оказывается, мудрый богдыхан во время своего длительного царствования почтительно сидел, обратившись лицом к югу, и ни во что не вмешивался. И за время его правления Поднебесная империя достигла райского благоденствия. Федор Ефимович, выслушав байку, смолчал. Только нежно-розовая, цвета коровьего вымени, лысина его и лежачие уши накалились докрасна. А вечером он назначил совещание и продержал весь техотдел до глубокой ночи, чтобы как следует прочувствовали, где Поднебесная империя, а где Российская Федерация.

Федор Ефимович предпочитал беседовать с подчиненными на равных. Любил шутку и простоту в обращении. Примет звеньевого под руку, заведет в угол и секретничает: «Ты лучше в данный момент этого вопроса не поднимай». Или: «Норму, конечно, гони, но помни: чтобы не капало!» Если же комсомолец поперечничал или, еще того хуже, позволял себе потрепать брата-начальника по плечу, очередная получка его по неизвестной причине усыхала на красненькую.

Федор Ефимович терпеть не мог, когда сотрудники конторы приветствовали его появление вставанием. Он огорчался, отмахивался: «Что я вам, государственный гимн?.. Садитесь, садитесь...» — и торопился к своему креслу. Если не вставали, огорчался еще больше, потому что авторитет, положенный не ему лично, а месту, которое он занимал, должен отмеряться без недовеса.

Из задумчивости Федора Ефимовича вывела секретарша Надя. Она принесла на подпись приказ.

Начальник с размаху подписал первый экземпляр и стал с интересом наблюдать, как Надя, усевшись за своим крохотным столиком, проставляла номер, помечала на копиях «с подлинным верно», пробивала оригинал дыроколом и прихватывала стальным капканом скоросшивателя.

Дубликат приказа был вывешен на фанерном щите, и Федор Ефимович загадал, кто первый подойдет читать.

Не подходил никто.

«Распустились,— подумал Федор Ефимович.— Надо посоветоваться с парторгом да подзадержать отдел после работы... Пущай продумают разницу между коммуной и сельскохозяйственной артелью».

Он поднялся и, подавая урок служебного этикета, пошел читать сам.

Приказ начинался солидно: «Капиталистический мир задыхается в тисках мирового кризиса. Они ищут выхода путем эксплуатации пролетариата и в подготовке войны. Нашим долгом является крепить мощь и обороноспособность, залогом чего являются перевыполнение плана проходки и бетонных работ на шахте и бережное отношение к инструменту».

Дальше шли параграфы. Кто-то увольнялся в декрет, у кого-то вычли за сломанный лом шесть рублей ноль две копейки. «Вон у меня какие Поддубные! — удивился начальник.— Лома ломают!» Он вернулся на место, привычно уставился на обожженного ипритом голыша и стал обдумывать, как могли ухитриться поломать лом. И вдруг по сонным мозгам его проплыл параграф пятый: «Чугуевой М. Ф.— разнорабочей. Объявить выговор за самовольный уход с рабочего места без разрешения».

«Да ведь это та самая Чугуева? — похолодел он.— Какой может быть выговор?! Что они? С ума посходили?»

Он поманил Надю, спросил на ухо, кто составлял проект приказа, оказалось, инженер Бибиков.

— Сыми! — тихо повелел Федор Ефимович.

Приказ был снят и все экземпляры порваны на мелкие квадратики собственноручно Федором Ефимовичем.

— Бери карандаш,— велел он Наде.— Не этот. Вот этот. Пиши. «Рапорт». Быстрей давай! С новой строки. «Чугуева направлена в ударную бригаду Платонова согласно Вашего указания». Всю Чугуеву большой буквой.

Инициалы проставишь. Обратно с новой строки. «Спущены указания. Создать Чугуевой...» Обратно инициалы. Обстановку и тому подобное. Начальник и тому подобное. В скобках — Лобода. Давай печатай быстрей! Давай, давай... Чего тебе непонятно? Все понятно. Сверху: «Настоящим докладываю. Личную просьбу Чугуевой рассмотрели». Всю Чугуеву большой буквой... Давай, давай! Пущай Бибиков запятые раскидает.

— Я сама семилетку кончала, Федор Ефимович,— напомнила Надя.

— Давай, давай! Ты — семилетку, а он — Александровский институт. Сама знаешь, кому пишем.

Отослав рапорт с нарочным, Федор Ефимович снова притих. Кто бы подумал, что безропотная ударница с гравиемойки окажется такой настырной. Не слыхать ее было, не видать, и вдруг на тебе! Показала норов. Под землю приспичило. К Платонову. Первого Прораба и того не испугалась. И что с ней приключилось? Почему бежит с гравиемойки? Может, прораб Утургаули обижает? Вроде бы нет. Обижал бы, куда угодно пошла. А ей приспичило к Платонову. Может, слава бригады прельстила? Непохоже. Она, я думаю, не понимает, что главней — орден Красного Знамени или значок ЗОТ. Может, там, в платоновской бригаде, миленок у ней завелся? Надо проверить... Вот интересно: в массе все одинаковые, а каждая отдельная единица — загадка природы...

Федор Ефимович хоть и глядел на южную сторону, а все-таки первый вспомнил про Чугуеву. Не вспомнил бы, пустил на самотек, так и осталась бы она на гравиемойке, и вышестоящее указание не было бы выполнено.

«Постой, постой! — начальник насторожился.— Чугуевой-то никто не пособил! Ни шахтком, ни новый комсорг, никто не догадался!»

Лежачие уши Федора Ефимовича стали накаляться. Конторский скороход давно уже доставил рапорт в высшие инстанции, Федору Ефимовичу представились алая тяжелая папка, сияющая золотом прянично впечатанного слова «к докладу», матово-бледные руки Первого Прораба, открывающие ее, серебристый испод переплета, паточно

истекающий муаровыми узорами, и среди документов международного значения бумажка с разборчивой подписью «Лобода».

— Надя! — вскрикнул Федор Ефимович.— Срочно Чугуеву!

Пока бегали за Чугуевой, Федор Ефимович пытался вникнуть в ее анкету и автобиографию. Попытка не удалась. Корявые буквы плыли перед глазами, а папка личного дела упорно норовила закрыться.

Наконец Чугуеву привели. Из-за кучи платков глядели на начальника испуганные глаза.

— Чего замоталась? — приветствовал ее Федор Ефимович.— На дворе холодно?

Она принялась было отвечать, заметила на папке большой номер, черные буквы своей фамилии, и ее ударило будто током: «Все! Левша доказал. Пропала!» — и венский стул пискнул под ее тяжестью.

— Чего это ты? — Федор Ефимович заботливо наклонился над ней.— Сомлела?

— Оробела...— пробормотала Чугуева.

— Ну вот, оробела,— огорчился Федор Ефимович. Впрочем, если подчиненные вовсе не робели, он огорчался еще больше.— Такая устойчивая девка, двух мужиков пересилила, а тут на ногах не стоит. Чего нас пужаться? Мы не звери, мы руководители. Распеленайся, тепло... Вот так. Я тебя, Маргарита батьковна, не для своего, а для твоего удовольствия пригласил.— Начальник вернулся за письменный стол, стал читать личное дело и, не прерывая чтения, задавал посторонние вопросы: «Газету выписываешь?» или «В профсоюз заплатила?».

Потом отложил дело и спросил напрямик:

— Скажи мне, пожалуйста, почему ты к Платонову собралась? По каким соображениям?

— Машины...— с трудом проговорила Чугуева.

— Какие машины? Чего тебя, лихоманка колотит?

— Машины... с почтамта пригнали... Грузить надо.

— Обожди про машины. Обожди, обожди, обожди. Разъясни сперва, кто тебя к Платонову приманивает

У проходчиков работа тяжелая, опасная, взрывные работы, воздуха мало. Работа недевичья. Может, у тебя там землячок завелся? А? Сама-то откуда? Ну, чего язык заглотнула, откуда сама?

— Не знаю,— сказала Чугуева. Она глядела на его нахлобученный на глаза лоб, на усики и ждала, когда надоест играть кошке с мышкой.

— Серчаешь,— Федор Ефимович вздохнул.— Напрасно серчаешь, Маргарита батьковна... Чем я виноват? Приперлась со своей просьбой не вовремя. Всю обедню нарушила... Другой раз у нас такой сабантуй, что не разберешь, кого бить, кому хлеб-соль подносить. Тяжело стало руководить, ох, тяжело. Взять хотя бы тебя — желал с тобой контакты наладить, а ты боишься. А чего боишься, не знаешь. Я сам крестьянский сын, такой же, как и ты... С колхоза небось?

— С колхоза...— тихо проговорила Чугуева.

— Ну вот. А молчишь. А я возле Царицына в гражданскую воевал. Хорошие там места. Одно худо — кулаков много... Батьку как величать?

— Машины стоят,— Чугуева поднялась.— Грузить надо.

— Ну вот. Обратно машины. Машины, машины. Узкое место у нас — машины. А, между прочим, все про тебя позабыли, выговор собрались тебе вкатить за отлучку. Один я упомнил... Вот она, наша долюшка.— Он достал платок и высморкался.— Ступай.

«Батюшки,— поняла вдруг Чугуева.— Да он не знает ничего. Ничего, ничегошеньки!» И крошечные ямки появились на ее щеках.

— Ступай, ступай,— продолжал Федор Ефимович печально.— У Платонова ребята смирные. Физкультура в почете. А тебе с твоим поперечным сечением такой совет — подключайся к физкультуре. А то салом заплывешь, сдадим на мясозаготовку. Ядры тебе надо кидать, диски.

— Сейчас? — спросила Чугуева.

— Зачем сейчас? В кружок впишут, там и станешь кидать. Машины машинами, а и о себе думать надо. Кино просматриваешь?

— Нет.

— Чего же?

— Темно там. Засыпаю.

— Вот как! В кино засыпаешь? А ночью что делаешь?

— Ничего. Сплю.

— С кем? — пошутил Федор Ефимович.

— Когда одна, а когда с Машкой.

— С какой Машкой?

— Машкой-то? Из лаборатории. К ней дед приехал.

— Какой такой дед?

— Ейный дед. Родной дедушка... Когда выпимши, у нас ночует.

— В женском общежитии?

— А где же? Куда его девать, если выпимши? На двор не вынесешь. Я пойду, ладно? Машины стоят.

— Ступай, ступай... Сдавай спецовку и ступай к Платонову.

— К Платонову? Пошто?

— Как пошто? По то. Оформляйся к проходчикам. Разрешаю.

— Да что вы! — отмахнулась Чугуева.— К Платонову? Ни в жисть...

— Что значит не пойдешь? Я рапорт подал, а ты не пойдешь?

— Нет! Нет! И не думай, товарищ начальник!

— Обожди, обожди... Ты что, Маргарита батьковна, позабыла, кому просьбу казала? Про нас с тобой знаешь где разговоры идут? Я рапортую, что ты у Платонова, а ты обратно на мойке? Да разве можно? Не-е-ет! Нам теперь ломаться не приходится.

— Да будет тебе. Сказано — не пойду, значит, не пойду. Хоть режь.

— Значит, добром не желаешь?

— Не желаю.

— Ну ладно. Придется с тобой говорить на басах. Предъяви заявление.

— У меня нету.

— Что значит нету? Выкладывай. Думаешь, мы тут богдыханы? Мы не богдыханы. Давай выкладывай!

— Чего же выложу, если нету.

— А где оно?

— Потеряла. Забросила.

— Вон ты как! А ну садись за стол. Садись, не боись.

На каучуковом комбинезоне Чугуевой заиграли губастые складки. Она вразвалочку обошла стол, осторожно опустилась в широкое кресло.

— Вот тебе бумага,— Лобода хлопнул ящиком,— вот тебе карандаш,— он щелкнул карандашом по стеклянной плите.— Пиши.

— Чего писать?

— Просьбу. В бригаду Платонова. Прошу и так далее.

— Не стану.

— Пиши, тебе говорят.

— Не стану.

— Ты где, на базаре? У нас дисциплина железная. Куда тебя поставят, там и стой. То ей приспичило к Платонову, то ей неохота к Платонову. Да у Платонова, если ты хочешь знать, передовая комсомольская бригада. А ты кто? Комсомолка? Нет. Так чего ты к нему лезешь?.. Погоди, погоди... Сбила ты меня совсем. Погоди, погоди. Погоди, погоди, погоди. Поскольку ты не комсомолка, вывод такой: полезно тебе маленько повариться в комсомольском котле. Пора тебе, Маргарита батьковна, расти над собой, в политике пора маленько разбираться. Фашисты войну затевают, а ты голову платком замотала. Германия из Лиги Наций вышла. Слыхала, нет? Ребята в комсомольской бригаде — народ грамотный. Они там тебе разъяснят. Они одного несоюзного взяли на воспитание. Ты будешь вторая... Пиши...

Федор Ефимович прервал речь и, не закрывая рта, уставился на Чугуеву. Еще не было случая, чтобы его работа с людьми давала такой немедленный и впечатляющий результат. Чугуева побледнела, как полотно, лицо ее стало цепенеть.

— Классовый враг ползет из всех, понимаешь, щелей, а ей к Платонову, понимаешь, приспичило!..— продолжал Федор Ефимович неуверенно.— Обожди, куда я тебе велю? Вовсе ты меня сбила, Маргарита батьковна... Пиши давай!

Чугуева окоченела за письменным столом. Круглые глаза ее наливались смертельным страхом. «Припадочная!» — испугался Федор Ефимович.

Вскоре он сообразил, что взгляд Чугуевой направлен мимо него и пугает ее вовсе не Германия. Он оглянулся. У входной двери топтался парень в лохматой кепке.

— К вам, гражданин начальник,— проговорил он.— Доложить велели до сведения. Покойник у нас.

— Обожди. Не видишь, занят... Так вот, Маргарита батьковна, что я вам хочу...— Тут сообщение парня добрело до его сознания.— Какой покойник?

— Первобытный, видать. Гроб откопали.

— Прекратить работы,— приказал начальник.

Дело было пустое. Проходчики снова наткнулись на древнее погребение. Вызвать члена археологической комиссии, и все дела.

— У покойника выставить охрану и ждать ученых. В гробу не ковыряться. Голову оторву. Ясно?

— Ясно.

— Постой! Ты из бригады Платонова? Новенький? Как тебя там, не обижают?

— Нет.

— Ребята хорошие?

— Ничего.

— Ну вот, хорошие. Бригадир хороший?

— Ничего.

— Ну вот. И бригадир хороший. А она не идет.

— Пойдет,— парень ухмыльнулся половиной губы.— Покорится. Она верующая.

— Ты что? Знаешь ее?

Парень вяло взглянул на Чугуеву. Она сопела, как мехи в кузне, и не сводила с него белых, безумных глаз.

— Видались,— сказал он.

— Так как же? — строго проговорил начальник.— Добром в бригаду пойдешь или силком тебя тащить? Ну?

— Как они скажут,— еле слышно пробормотала Чугуева.

— Давно бы так. Бери карандаш, пиши заявление.

Чугуева вытащила из-за пазухи мятую бумагу. Это была та самая просьба, которую она показывала Первому Прорабу. Начальник разгладил листок на столе, сказал:

— Другой раз будешь писать, оставляй поля пошире.

Он разогнул руку, написал резолюцию и вычертил что-то длинное-длинное, словно фамилия его была не Лобода, а, по крайней мере, Немирович-Данченко.

Чугуева взяла бумагу и тяжело, будто на голгофскую гору, пошла за лохматой кепкой.

7

Так по воле прихотливого случая на великой стройке Московского метрополитена скрестились пути беглой лишенки Чугуевой и пройдохи Осипа Недоносова.

Объявившись в бригаде, Осип признался, что на строительствах сроду не работал, а каменщиком третьего разряда записался для того, чтобы быстрей получить койку в общежитии. Прораб покачал головой и поставил его на откатку. Работа была нелегкая. Досрочно, в рекордно короткий срок сбитая узкоколейка не выдюживала, вагонетки бурились — сходили с рельсов на стыках, на кривых, на поворотных кругах. Груженая коппелевка выматывала последние силы. Осип уработался до икоты и через два дня внезапно вспомнил, что умеет плотничать. Тогда его отправили в бригаду проходчиков. Платонов выдал ему тяжеленный деревянный молот — «мартын», поставил на крепление штолен и сказал, что, если Осипу взбредет в голову еще раз менять профессию, придется идти в главные инженеры, больше некуда.

А через несколько дней насмешки над Осипом поутихли. У слабосильного придурка открылся природный дар, который перекрывал все его капиталистические пережитки. Он ловчей всех в бригаде умел добывать доски и подтоварник. В ту пору, в феврале и марте 1934 года, когда драка за 9 и 4 достигла наивысшего, почти неправдоподобного накала, бревно считалось на стройке самым драгоценным подарком. Но прежде надо объяснить, что такое 9 и 4.

Мало кому известно, что метро в Москве задумали копать давно. Еще в 1925 году на столичных улицах и площадях было заложено девяносто разведывательных буровых скважен. К 1930 году появилось два проекта: один наш, советский, другой — немецкий, фирмы «Симменс Бауунион». Дело двигалось робко до тех пор, пока в июне 1931 года Пленум ЦК не вынес решение: «Необходимо немедленно приступить к подготовительной работе по сооружению метрополитена в Москве с тем, чтобы в 1932 году уже начать строительство метрополитена».

И в 1932 году началось удивительное строительство, не имевшее ни смет, ни проекта, ни специалистов. На стройку брали, как на войну: и металлистов, и колхозников, и пекарей, и циркачей, и кубовщиц, и текстильщиков, и адвокатов, и котлоскребов, и наборщиков, и официантов, и скорняков, и чекистов, и мебельщиков, и банщиков. Одним из бригадиров-проходчиков оказался бывший помощник директора кинофабрики — по производственным совещаниям. Не хватало ни машин, ни материалов. Истощенные карьеры не имели ни подъездных путей, ни освещения. Комиссия, состоявшая из главных инженеров, делила каждую платформу гравия по участкам. Воздвигали башни копров и копали шахты, еще не зная толком, где пройдет трасса. Приказ о том, чтобы обеспечить метро мрамором, снабженцы получили за два месяца до конца работ. А мрамор поддается распилу на три сантиметра в час.

И вот однажды — таинственно рассказывал ветеран-метростроевец — зимней ночью Ротерта, Абакумова и прочий руководящий аппарат подняли с постелей, отвезли на Старую площадь и вознесли лифтом на пятый этаж. Руководители Московской партийной организации, строители, профессора, консультанты сели за длинный стол и стали советоваться, как завершить строительство в минимальный, пятилетний, срок. Они советовались, а за их спинами вышагивал человек в сапогах козлиной мингрельской кожи. В середине вежливо-настойчивой речи академика-специалиста по основаниям и фундаментам раздался державный стук трубки о пепельницу, и из зеленоватого

сумрака послышался голос, с усилием перемежающий паузы со скороговоркой:

«Лес, конечно, надо. И машины надо... А главное, надо сменить черепашьи темпы на большевистские и прекратить превращать Москву в помойную яму».

Все молчали. Единственный человек в мире, имевший право сформулировать и произнести то, что было произнесено, не торопясь, разломал красивыми пальцами несколько папирос, набил табаком трубку, раскурил ее и примирительно, даже ласково закончил:

«Есть предложение: завершить строительство метрополитена к всенародному празднику Седьмого ноября. А с качеством вопрос ясен: метрополитен пролетарской столицы должен быть лучший в мире. Всего хорошего, товарищи».

Наконец кое-что прояснилось. Месяц окончания строительства был назван. А год? Догадка, что этим годом может быть 1934-й, представлялась настолько несуразной, что ее никто не решался произнести вслух до тех пор, пока она не подтвердилась вскоре циркулярно, документально, а также голосами, тихими и громкими, клеймящими пораженцев и упадочные настроения, охватившие одну часть технической интеллигенции.

Пришлось думать всерьез. За все прошлые годы было выполнено около пятнадцати процентов работ. На остальные восемьдесят пять процентов отводилось чуть больше десяти месяцев. Быстро подсчитали: для того чтобы уложиться в намеченный срок, надо ежедневно вынимать 9 тысяч кубометров грунта и укладывать 4 тысячи кубометров бетона.

Эти арабские цифры — 9 и 4 — стали на стройке чем-то вроде роковых огненных словес «мене, текел, перес», начертанных на валтасаровом пиру. Про девятку и четверку ежедневно твердили на десятиминутках, девятку и четверку постоянно печатали в заголовках «Ударника Метростроя», девятка и четверка мерещились в темноте, являлись во снах. А инженер Бибиков отводил приятелей по одному в уголок, спрашивал, сколько будет девять плюс четыре, и мефистофельски подмигивал.

А дела на шахте 41-бис не располагали к шуткам и

шли, по выражению того же инженера Бибикова, «далеко не идеально». Из 4 тысяч кубов бетона на долю шахты пришлось в январе 350, а не уложили ни одного. Бригады дрались за план зверски, забывали обедать, забывали, где ночь, не выходили из-под земли сутками, а толку не было. Парторгов ругали за плохую постановку политмассовой работы, проектировщиков — за нехватку чертежей. Лобода по-наполеоновски обвинял морозы. А загвоздка была не в чертежах, не в морозах и не в политграмоте, а в самом обыкновенном бревне. В феврале по встречному графику обязались уложить 800 кубов да 350 январских, а уложили всего 86 с половиной.

Комсомольская бригада Платонова стала съезжаться на шахту часа за два до начала работ, еще до света, и разбредалась по соседним улицам, по дворам и чуланам — на лесозаготовки. Платоновцев хорошо знала милиция, но платоновцы знали милицию еще лучше и возвращались кто с доской, кто с бревнышком.

Самым надежным снабженцем оказался Осип. Три дня кряду он приносил добротную двухдюймовку — крашеные ступени какого-то крыльца. Потом притащил воняющую хлоркой дверку с надписью «00».

Ребята удивлялись. А когда Осип приволок дверь, обитую свежей клеенкой с табличкой «Прием от 10 до 16», Платонов хотел было пропесочить его, но сдержался и отошел. Приходилось терпеть. Такое создалось положение.

А про Чугуеву Осип словно забыл. С тех пор как они оказались в одной бригаде, пошла вторая неделя, а он ни полслова не намекнул о прошлом. Иногда Чугуева думала, что обозналась, что это не тот, кого она обмахивала веткой на сибирском болоте, а только похожий. Но нет, Осип поглядывал на нее как на близкую знакомую и приказывал найти скобу или клинышек, будто государь-повелитель. Она не могла понять, чего он тянет, чего ждет от нее? С каждым днем ей становилось все тошней. Она стала чаще попадаться на глаза Осипу, заговаривала с ним. А он только ухмылялся половиной рта. Эта отвратительная ухмылка извела ее до того, что она едва не открылась Платонову.

Случилось это так. Однажды Осип, не замечавший Чугуеву полную смену, смилостивился и подозвал пособить. «Ладно,— решила она.— Кончать пора так или эдак». Она завела марчеванку на прогон, оглянулась, нет ли кого, и, замирая от сладкого ужаса, спросила:

— Сам сибирский?

— А что? — отозвался Осип как обыкновенно.

— Чего же уехал? Казенные хлеба надоели?

— А ты что? Тоже оттуда?

— Не тяни жилы. Сам знаешь... Триста четвертый...

Горло ее сдавила спазма. На триста четвертом километре высаживали раскулаченных.

Дальше Чугуева плохо понимала, что происходит. Остроносое лицо горбуна приблизилось почти вплотную, помаячило возле глаз и уплыло в темноту. Сипловатый голос предупредил:

— Руку хорони.

Она приладилась. Мартын свистнул возле уха. В глазах полыхнула малиновая зарница, кто-то пробубнил сквозь вату:

— Что? По пальцу угадал?

Она пыталась понять обращенные к ней слова и не могла. С той минуты, когда она открылась Осипу, безнадежная слабость охватила ее. Пересиливая себя, она принялась заправлять другой конец марчеванки, нажала на торец и почуяла тупую боль. Она даже не поморщилась, словно болела не ее ладонь, а чужая. Ее мутило. Осип что-то бубнил, она слышала звуки и не пыталась понять смысл. Только увидев кровь, капающую из рукавицы, ахнула по привычке и побежала к свету. Из-под черных отставших ногтей на левой руке сочилась кровь. Чугуева присела на корточки, окунула руку в лужу.

— Ой батюшки, тошненько,— бормотала она вслух, потерявши осторожность.— Кто за язык тянул? Не признавал, теперь признает... Вот дура так дура... Сегодня не сдогадался, завтра сдогадается... Ой батюшки, да что же это!

— Что с тобой? Что ты? — над ней стоял Платонов с карбидкой. Она и не слыхала, как он подошел.

— Ничего, Митя... За грехи... Так и надо!

— За какие грехи? Вся лужа красная. А ну в здравпункт!

— Не надо в здравпункт, Митя!.. И так покаюсь. Тебе покаюсь.

— Лободе покаешься! Ребята, полундра!

— Не могу больше, Митя! Гадюка я. Слушай...

Покаяться она не успела. Набежали ребята, загоношились, силком усадили Чугуеву в вагонетку и, взвывая на манер «скорой помощи», помчали в двенадцать ног к подъемнику.

К Осипу бригада еще приглядывалась, а Чугуеву признала с первого дня. Бестолково-ревнивая красоточка Мери, отвечавшая за электрику и за членские взносы, и та призналась, что с Чугуевой стало уютнее в «загробном царстве».

Пробюллетенив три дня, Чугуева явилась на работу молчаливая как монашка, и между ней и Осипом снова установились отношения батрака и хозяина. Она берегла его инструмент, искала оброненный гвоздик, покорно слушала его разглагольствования. Добровольная угодливость лучшей ударницы поражала ребят, а особенно Мери, которая знала мужикам цену. Больше всего ее возмущало, что Чугуева подкармливает Осипа своим ударным пайком. Чугуева терпеливо выслушивала резоны Мери, но все продолжалось по-прежнему. И еще одна черта проявилась в ней — ее стало жадно тянуть подслушивать Осипа. Как только вдалеке раздавался ржавый голос, в ней все замирало.

Один раз она услышала разговор, происходивший метрах в ста от нее. Мери доказывала, что ни одна девка на такую шалаву, как он, не позарится. Осип вяло возражал и ссылался на Чугуеву.

Мери смеялась: Чугуева кормит его, чтобы приручить, окрутить и расписаться.

— Не...— упорствовал Осип.— Ко мне бабы за так липнут.

— Это почему? — подстрекала Мери.

— А я почем знаю? Ты баба, ты и разъясни, почему.

— Псиной от тебя несет. Вот почему.

— Это не псина,— объяснил Осип авторитетно.— Это влажно-тепловая обработка. От вошей.

И сколько ни слушала его Чугуева, о главном он ни разу не проговорился.

8

В начале марта Митя позвонил Тате, чтобы узнать ее планы на восьмое число.

— Ах, как кстати! — защебетала она.— Как хорошо, что ты звякнул! Просто замечательно! Радио слышал? Женщины и дети сняты со льдины и доставлены в поселок... как его...— слышно было, что она у кого-то спрашивает название.— Да, да, в поселок Уэлен. На самолетах! На наших советских самолетах! Ты рад? Вот какой сюрприз сделали летчики к женскому празднику. Женщин вывезли. Замечательно, правда? И дети, оказывается, были! С ума сойти! Теперь и папочка вернется. Я абсолютно уверена, Митя. А теперь слушай внимательно.— Она переключилась на привычный менторский тон.— К тебе на шахту едет Гоша. Надо ему помочь...

— Какой еще Гоша? — спросил Митя, придавая голосу клоунский акцент. Это дурацкое имя во время прогулок часто витало над ним. И только теперь оно почему-то больно кольнуло Митю.

— Ну, мой, мой Гоша! — втолковывала Тата.— Я о нем сто раз говорила. Поэт.— Она снова о чем-то спросила кого-то.— Специальный корреспондент. Он тебе сам расскажет. У него срочное задание. Срочное, понимаешь? Ему надо срочно сочинить очерк. В общем, сам расскажет. Он умница. Тебе он понравится. Помоги ему. Ты там фигура. У тебя же свой кабинет.— Она засмеялась. И еще кто-то там засмеялся.— Поможешь?

— С удовольствием,— процедил Митя. Очевидно, сарказм по слаботочным проводам не передался — Тата как ни в чем не бывало затараторила про летчиков, про челюскинцев, про собачьи упряжки, и разговор оборвался.

Митя вышел из телефонной будки очумелый.

«Всегда так,— удивился он.— Звонил как человеку, чтобы договориться женский день отметить. А она забивает голову собачьими упряжками».

Тата работала на почтамте, продавала марки. По телефону ей мешали разговаривать жадные филателисты. Наверняка Гоша тоже марки собирает. А Татка дрянь все-таки. Фасонит, как не знаю кто, а за душой круглый нуль. Давно было видно — гнилая интеллигенция. Поэта нашла. И имя паскудное: Гоша. Георгий. Шут с ними со всеми. Подумаешь, Георгий-победоносец! Она, наверное, живет с ним. Пользуется, что отец на льдине.

Митя был парень незлопамятный. И честил он Тату главным образом ради того, чтобы заглушить самокритику, донимавшую его в последнее время. А самокритика не давала покоя: «Ты-то кто такой, чтобы девчата с тобой проводили свой праздник? Летчик? Орденоносец? Давно ли тебя дразнили Жукленком? Подумаешь, бригадир. Много ли ты сделал за свое бригадирство? Каким был Жукленком, таким и остался».

Роскошная шуба с енотовым воротником загородила ему дорогу. Отворотившись от вьюги, владелец шубы поджигал папиросу.

— Закурить найдется? — спросил Митя противным клоунским голосом.

Плосколицый владелец енотовой шубы взглянул на метростроевскую панаму и с легким поклоном распахнул золотой портсигар. Митя вытащил из-под резинки толстую папиросу, сунул ее в рот и пошел. «Она за родного отца переживает, а он вместо того, чтобы утешить, кинулся на ледянке прокатиться... И этот, енотовый, странно поглядел. Может, прикурить надо было? Ладно, шут с ним. Не возвращаться же, не объяснять, что некурящий».

До него с опозданием дошло, что папиросой его угостил Москвин, а он, балбес, спасибо пожалел сказать знаменитому артисту. Вот бы Татка узнала, на месте бы съела... Но она не узнает. С ней — все. Пускай ей Гоша стихи декламирует.

Обеденный перерыв еще не кончился. В конторе было пустынно. Прилежная Надя линовала бумагу.

— Я сейчас Москвина видел,— сказал он.— Настоящего.

Она подняла круглое, кукольно-розовое личико.

— Ты как женский день наметила провести? — спросил он деловито.

— Не знаю. Шахтком петь в хору приказал.

— Подумаешь, хор. Пойдем в ресторан. На мои деньги. Коньяк будем глотать. А?

Надя внимательно посмотрела на него.

— Ты чего это? Ты чего? — спросила она, вынимая из его рта папиросу.— Поругали тебя, Митенька, да?

И эта пигалица сочувствие проявляет!

— Какой я тебе Митенька? — проговорил он гневно.— Твой Митенька на колбасе катается...

Он подождал гостя минут пять, не дождался и отправился в бригаду.

У проходной маячил сутулый парень с фотографическим аппаратом на животе. Парень промерз до костей. Хрящеватый нос его отливал красно-сизым блеском, в рукавах замошенного макинтоша едва виднелись кулаки, а глубоко на уши была натянута лыжная шапочка с помпоном.

Усмехнувшись про себя, Митя спросил:

— Вы будете поэт Гоша?

— Я. Добрый день.— Гоша торопливо подал плохо разгибающуюся, замороженную руку.— Очень приятно. Я вас сразу узнал. По Татиному описанию.

— Описала, что рыжий?

Гоша смутился.

— Вам надо было в контору зайти.— Митя нахмурился.— Я там из-за вас полчаса околачивался... Это со мной,— небрежно кивнул Митя вахтеру. Как только он увидел помпон на шапочке, настроение его улучшилось.— Чего вам от меня надо?

— Очень немного. Сведите меня, пожалуйста, с девушкой.

— Насовсем или на время?

Гоша смущенно хихикнул.

— Мне очерк заказали. В праздничный номер. К Восьмому марта. Обязательно нужна девушка.— Гоша робко

улыбнулся, открыв лиловую, тоже как будто замерзшую десну.— Ударница нужна. Желательно с шармом. Мне ее снимать придется.

— Со шрамом у нас ни одной нету,— сказал Митя.— У нас техника безопасности поставлена — во! А ударницу подберем. Марки собираете?

— Нет. В детстве собирал, бросил. А вы?

— А я и не начинал. Портянки крутить умеете?

Портянки крутить Гоша не умел: кое-как натянул резиновые сапоги и вслед за Митей двинулся к похожему на Тайницкую башню копру. Мешкать не было времени. Бригада ждала своего бригадира.

Они забрались на деревянную платформу, огороженную вроде телячьей стойки, рукоятчица просигналила «живой груз», шестеренки запричитали, и клеть пошла вниз.

— Глубоко? — прокричал Гоша в Митино ухо.

— Сорок пять.

— Трос надежный?

— Пока держит.— Митя сощурился и добавил: — А все до поры до времени. Не трос — мочало. Кабы увидели, ахнули!

И Гоша затих.

Потом они долго шли штольней по скользким доскам, шлепающим под ногами мокро, как прачечные рубельники, шли, прижимаясь к стене от груженых вагонеток, сказочно бежавших без мотора и без толчка под невидимый уклон; вагонетки гремели, откатчики, умостившиеся на рамах, орали в темноту «Бойся!», с кровли шел дождь. Редкая цепочка электрических лампочек блестела елочными бусинами в банном тумане под низким потолком и изгибалась направо, в бархатную подземную тьму.

— Ты, друг, давай активней нагинайся,— обернулся Митя.— Фару навесишь — отвечать не буду.

Интерес к посту он потерял и соображал, как бы поскорее от него избавиться.

На его счастье, в дневную смену работала Мери. Он увидел издали мигающую контрольку.

— Вот она,— сказал Митя.— То, что надо. Звать Мери

Мери бесцеремонно ослепила фонариком сперва Митю, потом Гошу.

— Товарищ к тебе,— объяснил Митя.— Из редакции. Куплеты про тебя будет складывать.

Сбагривать корреспонденцию на Мери было удобно. Она обладала техническим образованием и нахальной красотой. С ней неоднократно беседовал Первый Прораб.

— А, из газеты! — обрадовалась Мери.— Вот хорошо! Киршона знаете? Нет? А я знаю... Ничего малый. Вас как звать? Гоша? А фамилия? Успенский? Чего-то я ваших книг не читала... Писателей много, а я одна. Женатый? Чудно! Писатель, а неженатый! Я и Пушкина читала, да позабыла. Минуточку... Патрон присобачу, поговорим ладком. Только так: я вам — мерси и вы мне — мерси... Тут надо туляка одного покрепше продернуть.

— Какого туляка? — насторожился Митя.

— Да ты его знаешь, слюнявый такой, с Тулы трубы возит. Как в Москву, так и давай разлагаться. Пускай жена почитает, зуб ни за что вышиб, падла. Вот, гляди.

Она оттянула распухшую губу.

— Ему поручено не про зуб писать, красавица,— пояснил Митя.— Ему поручено про Восьмое марта, про Международный женский день писать... А тебя в данный момент не то что на карточку снимать, на тебе клейма ставить негде. Пошли.

И Гоша захромал натертыми ногами дальше, вслед за бригадиром.

Они остановились в углублении, разработанном в виде пещеры. Серые песчаные стены поблескивали, как халва. Под тусклой угольной лампочкой висела табличка «Аварийный запас», и перечислялось, сколько багров, топоров, ведер, досок и бревен должно быть припасено на случай беды. Из обязательного ассортимента осталось только четыре осклизлых обрубка. На одном из них коротал рабочее время Осип. Он упирал перочинный нож в колено и ловчился, чтобы, кувырнувшись двойным сальто, нож воткнулся в землю.

— Получается? — спросил Митя любезно.

— Ничего,— ответил Осип.— Раз уткнется, два раза лягет.

— А девять и четыре кто достигать будет?

— Топор тупой,— сказал Осип.

— Тупой — наточи.— Митя готов был сорваться с любезного тона.

— Оселка нету.

Мимо прогремела вагонетка. Голый по пояс парень в пиратской косынке соскочил на ходу.

— Гони крепаж, бригадир! — заорал он.— Потолок валится!

— Где?

— У меня, где же? Запустил перфоратор, а кровля — бенц! С головой накрыла! Ладно, филат углом уперся, а то бы хана! Марчеванкой прижало — ни туда ни сюда.

— А подручный?

— Подручный за сменным побег. Ребята на обеде. Руку прижало — спасу нет. Васька не выручила бы, хана бы. Зависла вниз головой, давай пилить. Раз-два, перепилила. Я через фурнель вниз — бенц! Ладно, песок...

— А Васька?

— Ее за ноги вытащили. Давай доски! Не то план завалим! — И парень исчез в темноте.

— Чего встал? — накинулся Митя на Осипа.— Лакеев ждешь? Топор тупой — ищи точило!..— Он вспомнил про Гошу, обернулся.— Да и вам тут делать нечего. У меня бригада — одни мужики, если не считать Васьки.

— Простите...— возразил Гоша робко.— Я, кажется, недопонял. А кто Васька?

— Васька — женского пола.

— В ушах звенит... Не могу ухватить.

— А что тут ухватывать? Крестили Риткой, а кличем — Васька.

— Так, так... И, насколько я уловил, этот Васька, простите, эта Ритка выручила из беды землекопа?

— Землеко-оп? Это Круглов Петька. Ясно?

— А кто он такой?

— Круглова не знаете? Зря. На всю шахту гремит. Лучший забойщик. Первая лопата.

— Так что же вы раньше не сказали?! Это мне и нужно! Где-то там на льдине летчики спасают женщин. А здесь, в подмосковных недрах, женщина спасает героя. Символично, не правда ли? Если вы устроите мне беседу с Васькой и Филатом, мы с Татой будем вам очень обязаны.

— С каким Филатом?

— Я недопонял... Круглов слишком лапидарно изъяснялся — хана, бенц, и я не уловил... По-моему, он упоминал какого-то Филата.

— Филат — это доска. Ясно?

— Ах, доска. Тем лучше! Филат отпадает. Достаточно побеседовать с Васькой.

— Пожалуйста. Только учтите, с ней говорить — все одно что с филатом. Она с новым человеком говорить не может. Сопит как телуха, и только.

— Я разговорю,— тонко улыбнулся Гоша.— Маяковский с памятником Пушкина ухитрялся беседовать.

— Так то Маяковский! В общем, дело ваше. А ты все тут? — снова набросился он на Осипа.— После смены мы с тобой тоже побеседуем. Где Васька?

— За оселком пошла,— доложил Осип.

Митя велел Гоше ждать, прыгнул на пробегавшую вагонетку и поехал звонить по телефону.

Вагонетка ушла. На фоне ненадежной тишины любой звук жирно пропечатывался в Гошиных ушах. Вот шлепнулся коровьей лепешкой кусок глины. Вот упорно стреляют по лужам грузные капли, каждая на свой тон. Вот, набирая силу, возник ватный звук двигателя, и резиновый шланг, змеей распластавшийся у Гошиных ног, ожил, напружился, петлистая часть его поднялась стоймя и, равномерно дергаясь, плюхнулась на другой бок. Рядом ни с того ни с сего треснул здоровенный, в обхват толщиной, стояк.

— Что это? — Гоша вздрогнул.

— Город давит,— объяснил Осип.— Горное давление.

— Это опасно?

— Чего опасного? Я же сижу.

Стеклярусный блеск лампочек делал трущобную тьму

плотнее и гуще. Сверху и с боков сквозь расщелины досок сочилась вода. И невозможно было представить, что где-то над головой ходят москвичи, бегут «газики», автобусы, громыхают трамваи. Гошу мутило, но он решил довести дело до конца, чего бы это ни стоило. От будущего очерка зависело многое в его горемычной судьбе.

9

Почти с пеленок Гошу Успенского убеждали, что он необыкновенный. Изысканный, душистый отец его посвятил жизнь древним остским языкам. В оставшееся от остских языков время он мылся и чистился. Он был брезгливый чистюля. А мать курила пахитоски, обожала футуристов и работала в Музее изящных искусств у знаменитого Цветаева. В ту пору было модно работать.

Салон Успенских был известен в Москве. У них бывали Гершензон, Бахрушин, Бердяев. Они слушали, как пятилетний Гоша декламировал по-немецки стихи из «Путешествия на Гарц», пророчили: «Этот ребенок далеко пойдет»,— и пили чай с сухариками. Сухарики подавались особые, аристократические. Для приготовления их с Патриарших прудов привозили мамину сестру. Сестра была баптисткой. Ее стыдились и гостям не показывали.

Учиться Гоша пошел сразу во второй класс. В первом учиться ему было нечему. Грянула революция. Наступил голод. Гоша хорошо помнит, что бывал сыт один раз в месяц. По двадцатым числам отец приносил из университета паек: мешочки с крупой, а иногда коровью голову без языка (язык отрезали для пайщиков высшей категории).

В образцовой школе имени Бебеля Гоша без всяких усилий оказался первым учеником, а когда Гоша заметил, что лозунг «Кто не трудится, тот не ест» принадлежит библейскому апостолу Павлу, обществовед до судорог возненавидел профессорского заморыша и прозвал его мосье Жорж.

Бесноватые школьники раскачивали мосье Жоржа на канате до рвоты, подвешивали на трапеции, стягивали с

него трусы. Гоша растерялся. Все то, за что его хвалили дома, в трудовой школе жестоко осмеивалось.

Однажды он проснулся ночью. Чужие мужчины перетаскивали его вместе с кроватью в папин кабинет.

Позже стало известно, что самодеятельная «трудовая группа» постановила оставить профессору Успенскому три комнаты, а в остальные две вселить работника чаеуправления Наумова. Профессор не согласился, и уплотнение проводилось ночью в принудительном порядке. Мама билась в истерике. Папа сидел в кабинете и подравнивал пилкой ногти.

Бывший политкаторжанин Наумов был известен всему дому. Его называли ходячей совестью. Он неколебимо стоял за справедливость в большом и малом и часто спасал Гошу от дворовых мальчишек. Тем не менее суд Хамовнического района решил вернуть самовольно занятые комнаты интеллигентному труженику профессору Успенскому, а незаконную «трудовую группу» распустить.

Адвокат настоял, чтобы на процессе в зале суда присутствовала вся семья. Сиренево-бледный Гоша и несчастная мать изображали, так сказать, вещественное доказательство — притесненные личности. И действительно, контраст был разителен. Наумов, фанатик с упрямым лбом, с горящими черным огнем глазами, кричал о несправедливой жилищной политике, дерзил и ругался. Оказалось, что судится он не первый раз. В 1918 году он застрелил из браунинга приведенного ему на допрос князя Меншикова. Ревтрибунал приговорил его за самосуд к общественному порицанию и запретил носить оружие в течение года. Теперь же ему было предписано освободить занятые комнаты и вернуться на прежнее место жительства.

Суд кончился. Гоша вышел с родителями на улицу. Отец шел немного впереди, размахивая палисандровой тростью, и слушал болтовню адвоката. У поворота в Штатный переулок его окликнул Наумов, сказал: «Тебе квартира нужна — вот получай!» — и выстрелил. Гоша хорошо помнит: после выстрела отец брезгливо посмотрел на крахмальную, набухшую кровью манишку и упал как срезанный. Наумов подошел к нему вплотную, подул в ствол и выстрелил еще два раза.

С тех пор Гоша стал нервозно относиться к прямолинейным борцам за справедливость, и эта черта характера осталась в нем на всю жизнь.

Отца хоронили с оркестром. Кто-то посоветовал превратить квартиру профессора в музей. Но вскоре их уплотнили еще раз, официально и по правилам, а в мемориальный кабинет вселили семью из шести душ. Это несчастье сразило мать окончательно. В четырнадцать лет Гоша остался сиротой. И к нему переехала тетка-баптистка.

А учиться становилось все мучительней. Старшеклассники считали Гошу юродивым. Ребят смешило, что он знает, кто такой Тутанхамон, и умеет говорить по-немецки. И Гоша бросил бы школу, если бы его не взял под свое покровительство староста группы, второгодник Курбатов.

После школы друзья покойного отца устроили Гошу в Институт восточных языков. Там он поражал студентов робостью и удивительными способностями. Его считали лентяем. Но это была не лень, а страх сделать что-нибудь такое, что насмешит людей.

Гоша не ходил ни на лекции, ни на коллоквиумы. Целыми днями валялся он на продавленной кушетке и сочинял стихи.

Изредка, когда на душе становилось особенно тошно, Гоша ходил в Каретный, в садик «Эрмитаж» играть в шахматы. Там встречал однокашников. Некоторые питомцы образцовой школы стали образцовыми начальниками, директорами. Курбатов выдвинулся в редакторы молодежной газеты. Услышав эту новость, Гоша расстроился. Как же так? Ему, необыкновенному Гоше, приходится существовать на жалкую долю родительского наследства, а невежда, уверявший, что турки живут в Туркестане, раскатывает на персональном «газике».

Гоша ожесточился, принялся изучать итальянский и через полгода запросто декламировал терцины «Ада». Между тем наследство было проедено, а тетка стала запирать свой хлеб на ключ. Стипендии Гоше, как обеспеченному сыну профессора, не полагалось. Тетка глумилась над его стихоплетством и настаивала, чтобы он «оформлялся».

Разозлившись, Гоша снес в комиссионный магазин мамин пуховый платок, присвоенный теткой. Тетка расстроилась, простудилась, и ее увезли в больницу. Гоша залег на кушетку и стал сочинять автобиографическую поэму «Розовый омут». Дело продвигалось туго. Гошу раздражало, что строчки самовольно складываются в терцины. Давало себя знать пресыщение «Божественной комедией».

Пока он мучился, голодный кот Марсик ходил по комнате и орал так, что пришла соседка из смежной квартиры. Это и была Тата. Затаив дыхание, выслушала она начало поэмы и предрекла Гоше путь, усыпанный розами. Он улыбнулся и напомнил, что гению уготована трагическая судьба.

Гоша знал, что ему суждено сгореть, как сгорел Джордано Бруно. Он ждет своего часа. Ждет с нетерпением, даже с радостью. Лишь бы найти достойную защиты идею или встать на защиту гонимого, ибо любой неординарный человек — уникум, мистическая идея... Тата перебила его: трагедия гения, сказала она, типична для капиталистического общества. А в нашей стране, в героическое время пятилетки, поэзия нужна не меньше, чем хлеб и сталь. Они поспорили и остались в восторге друг от друга.

После ухода Таты он с новой силой принялся за поэму, но ненадолго. Из больницы пришло извещение — скончалась тетка. Для захоронения надо было сдать ее хлебную карточку. Гоша перерыл всю комнату — карточки не было. Он взломал шкатулку. В шкатулке не оказалось ничего, кроме пузырька с хлороформом и записки: «Когда Господь призовет меня — усыпи Марсика. Не то буду являться». Каждый день к Гоше ходили люди с портфелями и значками, про тетку говорили, что она преет, грозили судом, заставляли писать объяснения, подписывать какие-то бумаги. Кот сбежал, будто и он прочел теткину записку, и Гоша растерянно слонялся по комнате в полном одиночестве. Первого числа тетку разрешили хоронить без карточки. А у Гоши не оказалось ни копейки. В смертельной тоске валялся он на кушетке, проклиная свою недолю, и в голову лезли слова великого флорентийца: лежа на перине, счастья не найти. Ночью он ни с того ни с сего

вспомнил своего бывшего заступника, редактора молодежной газеты Курбатова, и к утру сочинил стихи:

Нам не страшны ни грозы, ни угрозы.
И плану пятилетнему в зачет
Текут зерна потоки из колхоза,
И из вагранки жарко сталь течет.
И труд, и стих мой людям угнетенным
Звезду освобождения несет.

И так дальше — всего восемь терцин.

Курбатов встретил Гошу скифским гоготом. Машинистке было приказано подать чай.

Гоша протянул редактору свое произведение.

— Чего это все кинулись стишки писать? — сказал Курбатов.— Даже бабы пишут. Читал эту Веру Инбер — с души воротит. Слабоваста пишет. Губной помадой.

— Поэзия требует известной культуры,— заметил Гоша.

Гошины стихи редактор просмотрел, прикуривая папиросу. А прикурив, сказал:

— Слабоваста. У Инбер и то лучше.

— Что ж.— Гоша, бледнея, поднялся.— Не в коня корм.

— Слабоваста, слабоваста, мосье Жорж. Навряд ли твой стишок принесет угнетенным звезду освобождения. И учти, из вагранки течет не сталь, а чугун. Тысячу двести градусов вагранка не выдержит. Расплавится.

— Буду иметь в виду,— слегка поклонился Гоша.

— Слабоваста, слабоваста...— бормотал Курбатов.— А, была не была! Тиснем в подборке «Молодые голоса»... Ты же меня все-таки ливерной колбасой кормил. Немного мутатис, мутандис, как говорится, и тиснем.

Суровая машинистка принесла чайник, стаканы с подстаканниками и сливочное печенье.

— Садись, пей. А подписывать стишки как будем — «Мосье Жорж»?

Гоша был возмущен до того, что не мог поймать подходящего ответа. Сглотнув голодную слюну, он проговорил:

— Я пришел не чаи распивать, а предлагать стихи. Вместо того чтобы получить официальный отзыв, я слышу

дурацкий смех и не менее дурацкие мутатисы... Вызубрил два латинских слова и думаешь, что этого достаточно для...

— Ошибаешься,— сказал Курбатов.— Еще знаю. Альма матер.

— Ну альма матер. А еще?

— Идефикс.

— Это по-французски, полиглот!

— Тогда больше не знаю.

— Ну вот. А берешься судить, что слабовасто, что не слабовасто... Вызубрил мутатис мутандис... в легковушке раскатываешь!..

— Тебе денег надо? — просто спросил Курбатов.

— Это не имеет значения. Я стихи на ливерную колбасу не меняю. Вопрос исчерпан.

Так бы и оборвалась встреча школьных приятелей, если бы в кабинет не влетел секретарь редакции. В руках его колыхалось жирное полотнище газетной полосы. Только что позвонили, что героиня очерка, приготовленного специально для Восьмого марта, сбежала с Трехгорки и оформилась в продовольственном Торгсине. Материал придется снимать. Полоса, посвященная Международному женскому дню, горит.

— Твое предложение? — оборвал Курбатов.

У секретаря предложений не было. В запасе, правда, имелся очерк о комсомолке, чистой по всем статьям (выдвиженка, делегат съезда), однако, по полученной справке, на днях автор очерка взят, и публикация его творений, какими бы они ни были, естественно, исключалась.

Курбатов велел свистать всех наверх и через четверть часа представить новый макет.

Секретарь исчез. Курбатов остановил отсутствующий взгляд на Гоше и спросил внезапно:

— У тебя случайно знакомой комсомолочки нет?

— Есть,— сказал Гоша заносчиво.

— Врешь! Где работает?

— На почтамте. Продает марки.

— Слабовасто.

— Зато она дочь челюскинца.

— Врешь! Бери командировку, скачи к ней. Сгоно-

шишь читабельный очерк, проведу во внештатные. А потом... потом видно будет. Да ты не пузырись. Советую соглашаться.

— Когда доставить материал? — спросил Гоша официально.

Курбатов сострил:

— Вчера! — и загоготал победным скифским гоготом.

Через полчаса Гоша с казенным «кодаком» прибежал к Тате. Она оценила суливший удачу случай, отсоветовала углубляться в сюжеты, имеющие отношение к наркомпочтелю, и убедила непрактичного гения окунуться в рабочую гущу.

И Гоша окунулся в шахту 41-бис.

Чугуевой не было. Гоша пошел искать ее и дошел до забоя. В банном тумане под дождем, льющимся с кровли, ребята отваливали пласты жирно-черной глины заиндевевшими от сжатого воздуха отбойными молотками. Мокрые девчата в лифчиках и брезентовых штанах грузили породу и гнали вагонетки к стволу. А навстречу везли стояки — бревна около полуметра толщиной. Антрацитово-черный лоб забоя, прикоснувшись к воздуху, бледнел на глазах, принимал мертвенный оттенок тлеющей золы.

На вежливые вопросы Гоши, поглощенные битвой за девять и четыре, ребята дико кричали «Посторонись!» или не отвечали вовсе.

Гоша вернулся к Осипу и покорно стал дожидаться.

Капала вода. Волокнисто пахло гнилушками. Как муха в паутине, гудел на столе жестяной ящик с черепом.

— Вот она,— сказал Осип.

Сперва было слышно только, как шлепают доски. Потом из темноты штольни выделилось грузное существо. Оно косолапо шагало по колено в тумане, чавкая метроходами. Гоша еще не приспособился ни к расстояниям, ни к призрачному освещению подземелья, и существо показалось ему огромным.

Чугуева подошла к Осипу и встала как лист перед травой. Она держала мартын с размочаленным наклепом. Несмотря на грузность, было что-то изящное и в ее позе, и в

косо заломленной штормовке, и в аккуратном узелке, притороченном к поясу. Осип ждал. Она виновато сопела.

— Ну чего? — спросил Осип нехотя.

— Не дают,— промолвила она.

— Что значит — не дают?

— Не дают, и все.

— Несознательные?

— Кто их знает. Не дают.

— У кого просила?

— У во всех. Не дают.— Она подумала и пояснила: — Не дадим, говорят.

— А как за девять и четыре с тупым топором драться?

— Не знаю.

— У них не спросила?

— Нет.

— Что же ты?

— А что я? Не дают, ну!

Гоша вспомнил предупреждение бригадира. Чугуева действительно слова даром не отпускала.

— А ты добром просила-то?

— Добром. Оселок, мол, надо. Топор точить.

— А они что?

— Не дают.

— Сами точат?

— Никто не точит. Не дают, и все.

— Да пошто?

— А знаю? Ступай, говорят, отседа. Ты что, говорят, ему в кульеры нанялась? Пускай сам попросит.

— А ты что?

— Чего я-то... Не дают, ну... На обед пошли.

Осип поглядел на нее внимательно. Спросил быстро:

— Булка есть?

— Нет. Всю приела.

— А там что? — Он кивнул на узелок.— Дай гляну.

Он развязал узелок по-волчьи, зубами. Там оказались баночка из-под крема «Леда» с мелкой монетой, хлебная карточка, проездной до Лоси, крошечная иконка, уголок зеркала, соевая конфетка «Шантеклер» и несколько конфетных фантиков. Конфету Осип съел (он обожал сладенькое), остальное вернул, чтобы завязала сама.

— Снова идти?

— Ступай. Подскажи им про девять и четыре.

— Пардон, пардон! — заторопился Гоша.— Куда же вы ее засылаете? Она мне самому нужна! Добрый день, товарищ Чугуева!.. Мне ее бригадир обещал!.. Присаживайтесь.

Чугуева вопросительно поглядела на Осипа.

— А оселок? — спросил он.

— Я вам достану оселок,— пообещал Гоша.— У нас есть. На кухне. Я вам подарю...

— Это еще когда будет,— сказал Осип.

— А у меня задание газеты. Экстренное! Я полчаса жду.

— Ступай, Васька! — сказал Осип.

Чугуева вопросительно поглядела на Гошу.

— Нет, пардон! Послушайте, если она уйдет, я пропал... Прошу вас... Бывают же у человека, в конце концов, крайние обстоятельства.

— Бывают,— сказал Осип.— А тебя за оселком послали, надо было принесть.— И зашлепал по мокрым доскам в темноту.

— Осерчал,— вздохнула Чугуева.

— Ничего. Я ему подарю оселок. И еще у нас где-то валяется отвертка... Ваше имя, пожалуйста?

— А на что вам?

— Как же... Не могу же я вас называть Васей.

— Ну, Маргарита...— застенчиво проговорила Чугуева и покраснела.

— Видите, как хорошо! Маргарита! В этом уже есть что-то. Маргарита — по-латыни «жемчужина». Где-то у меня тут блокнотик...— Гоша стал весело охлопывать себя, будто заплясал цыганочку.— Ага, вот он. Мне у вас колоссально везет. Не успел спуститься, завалило Круглова. Ну вы, конечно, понимаете, не в том везет, что его завалило, а в том, что сюжет... И опять не то... Наплевать на сюжет. Повезло в том, что рядом оказались вы и спасли его. Вербицкая написала бы — вырвали из когтей смерти... Теперь так не пишут... Современный очерк требует динамики, Рита. А Круглова я понял плохо. Чуть не сосватал филата вам в женихи.

Он засмеялся, приглашая и Чугуеву повеселиться над его технической наивностью. Она прослушала его смех с тем же недоумением, с каким слушала рассказ о Круглове. Гоша поперхнулся и сказал:

— А время идет. Присядем.

— Садитесь. Мы постоим,— возразила Чугуева.

— Тогда и мы постоим. Равноправие... Вы с Волги?

— А вам что?

— Как это что? Простите, я не представился! Успенский, Георгий Георгиевич. Писателя Успенского знаете? Нет? Это хорошо, потому что я не тот Успенский, которого вы не знаете, а другой Успенский, которого вы тоже пока не знаете.

Она смотрела на него тревожно.

— А кроме шуток, мне поручили написать про вас очерк.

— Про меня? — ожила наконец Чугуева.— Еще новости! На меня ни один начальник сроду не обижался. Чего про меня писать? Я не дамся.

— Вы не поняли, Рита. Редакция заказала положительный материал... Какая духота у вас... Дышать нечем. Как в сицилийском быке. Вы слышали о сицилийском быке?

— Нет.

— О, это весьма интересно! Я недавно вычитал: царствовал в Сицилии тиран Фаларид. Давно еще. До нашей эры. И вот этот Фаларид приказал сделать из железа быка. И тех, кто ему не нравился, загружали в быка, запирали люк, а под быком разводили костер.

— Вот они, капиталисты, что делают,— сказала Чугуева.— Мне идти!

— Куда идти? А очерк? Итак, вернемся в двадцатый век, Рита. Судя по круглым «о», жили вы на Волге. В колхозе. Верно? Да, самое главное! У быка была разинутая пасть, представляете? И, когда несчастных поджаривали, они, конечно, выли. А получалось, будто бык мычит... Только и всего. Хитроумно, не правда ли?

— Господи, куда это Осип подевался? — тоскливо промолвила Чугуева.

— Ах, да, Осип. Давайте продолжим.— Гоша снова

похлопал себя по бокам, достал блокнот.— Скажите, пожалуйста, Рита, вы сами подошли к Круглову, когда случилась авария, или он позвал вас?

— Ничего не знаю.

— Как не знаете?

— А так. Митьку спросите. Он бригадир, он знает, что говорить, а чего нет.

— Да ведь мне не про бригадира писать, а про вас. И не опасайтесь, пожалуйста. Мне заказан положительный материал. К женскому празднику. Панегирик советской женщине. Так что я к вам явился не Зоилом, а скорей Исократом.

— Это вы там работаете?

— Да нет. Это был такой сочинитель хвалебных речей — Исократ. Он сочинял, а говорили другие... Кстати, Исократ сочинял свой первый панегирик десять лет, а с меня требуют сегодня вечером.

— Да что вам надо-то? Я не пойму.

— Мне надо все. Моя задача — написать так, чтобы читатель увидел вашу душу и вашу жизнь. Подумайте только, вас узнает весь Советский Союз. Мама развернет газету и скажет: вот она, моя жемчужинка! Разве это не приятно?

— До Клима Степановича тоже дойдет? — спросила Чугуева, оглянувшись.

— А кто это?

— Председатель исполкома.

— Конечно. И до Клима Степановича дойдет. Газета популярная. Читают ее в самых глухих уголках России.

— И высланные?

— Какие высланные? Да вы не волнуйтесь.

— А ежели я не желаю?

— Почему? Я хорошо напишу. Точно.

— А я все одно не желаю.— На лице Чугуевой заблестел крупный пот.— Не желаю... Мне недосуг. Марчеванить надоть.

— Гвозди бы делать из этих людей,— в сердцах процедил Гоша.

— Чего?

— Ничего... Послушайте, Рита, меня сам редактор

направил. Давайте присядем и побеседуем, как эти самые, как их... ну, как земляки. Представьте, я вам земляк или, еще лучше, кум, навестил вас...

— Видали мы таких кумовьев,— пробормотала Чугуева.— Нет у меня никаких кумовьев!

— Так ведь я приблизительно. Вот сидим мы с вами где-нибудь на бережку, над вечным покоем, беседуем, вспоминаем. Представьте себе — околица, плимутроки... У вас есть околица?

— Нету.— Чугуева туго обтерла рукавицей мокрое лицо.— И околицы нету. И кумовьев нет. Ничего нету...

— Ну нет так нет. А у нас прислуга была. Тоже из деревни. Она рассказала, как за околицу ходила, мужика с войны ждала. Ей старушка нагадала, что живой у нее мужик...

— Вот он, Осип, явился, слава богу,— сказала Чугуева.

Осип ткнул топор носом в бревно и уселся отдыхать на прежнее место.

— Вот и наточил,— проговорил он, чтобы услышала Чугуева.— А тебя хоть посылай, хоть нет — одна картина.

— Скажи, Осип, чтобы освободили они меня,— взмолилась Чугуева.— Работа стоит.

— А что говорить? Он из газеты. Имеет полное право поймать любого на улице — и давай отвечай, что спросит.

— Ну, это преувеличение,— Гоша улыбнулся.— Хорошо, хорошо. Биографию я уточню в отделе кадров. Скажите хоть одно: как вы попали на строительство метро?

Чугуева взглянула на него с ненавистью.

— Вербовщик привез,— помог Осип.

— А я не вас спрашиваю.

— Ну и что, что не меня? Вербовщиков тоже надо продергивать. Нас всех вербовщики сюда заманули. Взять хоть меня. «Поедешь,— спрашивает,— в Москву?» — «Зачем?» — «Метро строить».— «А что за метро?» — «Там увидишь. Квартиру, слышь, дадут. Окна на бульвар, сортир в комнате». Приехали, и нету ничего. По нужде в читальню бегаем.

— Продергивать вербовщиков не моя задача. Я не из «Крокодила». Мне заказан портрет пролетарки — ударницы метро.

— А почем ты знаешь, что я пролетарка? — внезапно перешла на «ты» Чугуева.— Какая я пролетарка, когда у тятеньки две коровы было. Одна Райка, другая в мою честь — Ритка. И бычок был свой, костромской... И тягла — три лошади.

— Три лошади?

— А как же. Корень и две пристяжных. Мироеды мы. Кровь с батраков сосали...

У Гоши сильно звенело в ушах — в штольне стало еще жарче и противней запахло гнилушками.

— Вы меня замучили, Рита,— сказал он.— Сдаюсь. Праздничный очерк сорван... И все-таки я напишу... Я напишу про людей глухих, бессердечных... про людей, бесчувственных к будням и праздникам,— он торопился и сбивался немного,— которые издеваются над человеком за то, что он не такой, как они...

В забое трижды ударило мощно и тупо. Землю под Гошей тряхнуло.

— Что это? — вздрогнул он.

— Взрывники вдарили,— ответил Осип.

Лампочки заволокло желтоватым дымом. Две девчонки, смеясь и кашляя, пробежали к подъемнику. Гоше показалось, что Чугуева и Осип тронулись с места и вместе со стойкой, лампочкой и табличкой «Аварийный запас» одним слитным куском медленно, как вокзальный перрон, поплыли не уплывая...

Очнулся он через несколько минут.

Голова его лежала на резиновом колене Чугуевой. За шиворотом было мокро.

Чугуева заливала ему в рот жестяную воду.

— Ну чего? — спросила она брюзгливо-ласково.— Отошел, плимутрок? Эва зашелся. Угорел?

— Аппарат...— пробормотал Гоша.

— Нужен мне твой аппарат. Вон он, на гвозде. А ну-ка садись. Сидишь?

— Сижу.

— Вот и ладно.

— Что это такое со мной, не пойму,— засмущался Гоша.— Воздуха не хватает, что ли?

— Не жравши ты, вот что. Ись хочешь?

Гоша застенчиво улыбнулся.

— Обожди.— Чугуева добыла из комбинезона сайку с маком, оторвала половину.— Кусай быстрей, пока Осипа нет.

Гоша стал глотать и давиться. А Чугуева глядела на него скорбным, тысячелетиями отработанным бабьим взглядом.

— У тебя мать хоть есть? — спросила она.

— Померла.

— Кто за тобой ходит-то?

— Тетя была, мамина сестра. Теперь никого нет.

Чугуева слушала внимательно. Неровное носатое лицо ее светилось сочувствием. Внимательно смотрели синезеленые, как зеркальное ребро, глаза, и случайная капелька цемента, застывшая над верхней губой, красила ее не хуже, чем обдуманная мушка очаровательной Помпадур. Особенно милыми были ямочки, возникавшие на мягких щеках, когда она собиралась, но не решалась еще улыбнуться.

— Я тебя задерживаю,— пробормотал Гоша.— Прости. Я сейчас.

Почуяв в его голосе нежность, она рассердилась:

— Ладно, собирайся! Тоже мне плимутрок. Чего вас в газете, не кормят, что ли?

— Да я не газетчик, Рита. В газету я не писал никогда. Пишу стихи, а их не берут. И не берут не потому, что плохие, а потому, что я не такой, как все. А вот как про тебя писать, знаю.

— Это как же?

— Сейчас скажу. Надо показать, как крестьянин волей революции превращается в рабочего. А воля революции беспощадна. Когда она переделывает человека, у него хрустят кости. Моя тема, понимаешь? Трагедийная тема. А ты не хочешь помочь.

— Заругают?

— Не то слово. Я праздничный номер сорвал.

— Вот грех-то! — Она поглядела на него озадаченно.—

А ты перетерпи. Про железных быков знаешь, другое всякое, чего тебе про меня писать?

— Одно другому не мешает.

— А я говорю, не надо про меня. Отступись.— Она таинственно оглянулась.— Недостойная я.

— Что ты, Рита! Ты первая ударница в бригаде!

— Ударница, а недостойная. Отступись.

— Да почему?

— Окаянная я, проклятая... Ясно?

— Далеко не ясно.

— Ясней тебе пояснить? Ну, ладно...

Лицо ее стало покрываться крупными каплями пота так быстро, что Гоша испугался. Далеко наверху, в забое, припадочно заколотил отбойный молоток.

— Нет. Не скажу,— вздохнула она.— Гадина я подколодная, вот и все. Ступай.

Гоша улыбнулся и протянул:

— А я, кажется, кое-что понимаю.

— Вот и ладно. Понимаешь и ступай.

— Про трех лошадей правда?

Она невесело усмехнулась:

— Какая это правда? Правда пострашней. Отступись, добром тебе говорю. Ступай.

На щеках ее замерцали херувимовы ямочки. И Гошу осенило: как же он умудрился забыть про фотографию? С фотографии надо было начинать. Самый надежный способ задобрить девицу — направить на нее объектив. И снимок получится уникальный: ударница метро в мокрой штормовке, с производственной мушкой над губой, в подземной штольне, возле коппелевской вагонетки. Такая фотография — сама наполовину очерк.

— Я ухожу, Рита,— сказал он.— Но на прощанье у меня к тебе просьба. Одна-единственная.

— Какая еще?

— Пустяковая. Мне нужна твоя фотография.

— Где я ее возьму? У меня нету.

— А я сниму. Я...

— Да вы что, смеетесь? Осип! — крикнула она резко.— Готов, что ли?

— Чего вы к ней прилепились? — заговорил, подойдя,

Осип.— Чего она вам может сказать? Ничего не может. Она по-городскому и говорить не умеет.

— Мне ничего не надо,— объяснил Гоша.— Мне бы только фотографию.

— Кого? Васьки? — удивился Осип.— Да кто такую харю напечатает?

— Разве это ваша забота?

— Верно. Забота не наша. Пару пива поставишь — сымем.

— Осип,— крикнула Чугуева тревожно.— Ты что там?

— Пойди-ка сюда.

Она подошла.

— Встань тут.

Она не двинулась.

— Кому касается? — Осип повысил голос.

— Пусть Мери...— безнадежно возразила она.— Мери завсегда снимают. И в «Ударник Метростроя» сымали, и на доску...

— А им тебя надо, а не Мери,— протянул Осип ржавым голосом.— Прими позу и прибери сама себя немного попрекраснее.

Она не двигалась. Он повернул ее к свету, заломил штормовку и отстегнул левой рукой пуговицу ворота. Из-под брезентовой робы блеснула то ли подвеска, то ли брошь грубого чекана.

— Так сойдет? — Осип полюбовался сбоку делами рук своих.

— Сойдет! — отозвался Гоша из-под темного покрывала.— Только лицо больно кислое.

— А ну смейся,— приказал Осип.

Она засмеялась.

Гоша сделал две вспышки, замотал кассеты в черную тряпку, собрал аппарат и условился по поводу пары пива.

— Хватит,— сказал Осип Чугуевой.— Прекрати смех.

10

Очерк под названием «Васька» появился в срок — Восьмого марта. Он был украшен портретом Чугуевой и

занимал четыре столбца в красном углу второй полосы. Успех написанного в один присест сочинения удивил даже видавших виды профессионалов. В редакцию стали звонить, спрашивать, кто такой Геус (подписывать свою халтуру полным именем Георгий Успенский постыдился и придумал псевдоним). Через несколько дней стали приходить письма читателей. Материал был отмечен наверху. Редактора Курбатова премировали шевиотовым отрезом. А Гошу пригласили в солидное издательство и предложили сделать книгу о метростроевцах, если это не противоречит его творческим планам. Шумный дебют обеспокоил Гошу. Больше половины — ох, значительно больше половины очерка — было выдумано, сочинено в самом подлом значении этого слова, хотя после неудачи с Васькой Гоша, конечно, беседовал и с Кругловым, и с Митей, и со сменным прорабом и уловил кое-что. К его удивлению, самыми читабельными оказались эпизоды, высосанные из пальца. Гоша ждал разоблачений, поминал недобрым словом упрямую ударницу. Ему было невдомек, что ей-то он и был обязан своим триумфом. На протяжении всего его лихорадочного писания каждой строке сопутствовало смутное ощущение неразгаданной загадки, возбуждавшее воображение читателей.

На Чугуеву очерк произвел впечатление неожиданное. Поначалу ей показалось, что голодающий «плимутрок» написал не про нее, а про неведомую принцессу. И портрет изображал не ее, а симпатичную смуглянку с черными нарисованными губами, черноволосую и без глаз. Единственное, что после ретуши осталось от Чугуевой, была шейная подвеска. Но по подвеске не признают. На сибирском болоте подвески у нее не было.

Чугуева с интересом перечитала, как отец батрачил на кулака-мироеда, как мать ждала его у околицы и как бабка-ворожея вызнала на углях, что отец убит в Галиции. Подвиг в шахте был описан распрекрасно. А больше всего понравилось Чугуевой, как она говорила корреспонденту:

«Отныне у нас появилась новая профессия, доселе невиданная и неслыханная. Профессия эта — метростроевец. Человек, удостоившийся этого звания, умеет и бето-

нить, и плотничать, и арматуру гнуть, и стены облицовывать, и опалубку шпаклевать, и штрек засекать. Короче говоря, настоящий метростроевец — строитель-универсал».

Восьмого марта ребята качали Чугуеву, а Митя подарил ей брошюру «О работе в деревне». Только тогда она убедилась, что написано про нее, и поверила, что она, а не смуглянка произносила красивое слово «универсал». Она приехала в общежитие, накрасила губы и легла спать. На душе у нее первый раз за много дней и ночей был мир. Теперь, если и узнают правду, ничего над ней не посмеют сотворить.

Всю шестидневку она работала, как песни пела!

А под выходной бригадир вызвал ее в контору. Она сразу нашла комнату, отведенную комсомольцам, тот самый «кабинет», которым хвастал Митя. Боевые участники легкой кавалерии обсуждали там будущую политудочку. Кавалеристы расположились на полу, на единственном подоконнике, на письменном столе и немилосердно галдели. В табачном мраке вечерним солнышком светились рыжие Митины космы.

— Пожаловала,— невесело встретил Митя Чугуеву.— А ну, братва, освободите помещение. У нас разговор.

Комсомольцы протопали в коридор. Слышно было, как их и оттуда погнали.

На Митином столе лежала знаменитая газета, довольно потрепанная. На снимке Чугуевой были нарисованы буденновские усы.

Чугуева взглянула на Митю, на газету и улыбнулась. С Восьмого марта она стала улыбаться знакомым и незнакомым, как дурочка.

Митя осмотрел ее подробно и спросил:

— Ну, чего с тобой делать?

— Да что хошь, Митя.

— Что хошь? — Он повернул к ней газету.— Почему я тебя вызвал, чуешь?

— Нет.

— А погляди на портрет. И учти, нету ничего тайного, что не стало бы...

Вошла уборщица, поставила в угол ведро и швабру, принялась выжимать тряпку.

— Анна Павловна, у меня дело,— напомнил Митя.

— И у меня дела. Нужней твоих.

До вселения комсорга каморка была в безраздельном владении Анны Павловны. Понятно, что отношения у них стали довольно напряженными.

Пока она гремела ведрами, Митя молчал. А осевшая было тревога снова замутила душу Чугуевой: «Может, Осип доказал?» Выдавать ее властям у него вроде бы не было интереса. Она обхаживает его, слушается. Чего ему еще надо? Нет, не Осип. Он против своего интереса не пакостит. Может, в районе газету видали? Клим Степанович, может, видал, начальник раскулачивания. Если Климу Степановичу газета в руки попала, мигом застучит в рельсу: фамилия сходится, имя тоже. И фотография, если приглядеться, не такая уж непохожая. И ямка на щеке, и нос. Скорей бы бригадир открывался, ждать тошнехонько.

Анна Павловна развесила тряпки на батарею и вышла. Митя прикрыл дверь плотней.

— Так вот, Васька,— повторил он,— нет ничего тайного, что не стало бы явным. Согласна с этим положением?

— А я что? Я ничего.

— Согласна, спрашиваю, или не согласна?

— Кто его, Митя, знает... Может, опалубка не по отвесу?

— Мастерица же ты придуривать... Я не Гоша. Я тебя насквозь вижу.

Он выдвинул ящик и достал официальный конверт шинельного цвета.

— Письмо нам с тобой отстукали,— пояснил Митя.— Пляши.

Он вытряхнул из конверта сложенную вчетверо бумажку. Сердце Чугуевой упало. Бумажка была с исподу чистая, неисписанная. Казенная. Казна пишет на одной стороне. У казны бумаги много.

— Откуда, думаешь, письмо?

Чугуева медленно бледнела.

— Ну что? Молчать будем?

— С района? — проговорила она.— Клим Степанович?

— Да ты не придуривай! С района! Твое фото в центральных газетах печатают, а ты — с района. Выше бери... Чего молчишь?

— Меня в списке не было, Митя... Пайка на меня не шла... Я и побегла. Бес попутал.

— Знаем, кто тебя попутал. Где оно у тебя?

— Кто?

— Да ты оглохла? Кольцо где?

— Какое кольцо?

— Вон как умеют дурачков строить... Вот это, про которое Академия наук пишет! — Митя постукал пальцем по фотографии, по тому месту, где блестела подвеска.— Это самое, которое на шее висит.

Словно мешок цемента свалился с Чугуевой. Она поняла. Речь шла об украшении, которое Осип вытащил из захоронения и приказал ей нацепить на себя. Только и делов. Покойник оказался женского пола, в золоте и серебре, и на выходе из шахты парней обыскивали. Митя и тот вывернул карманы, чтобы не нарушать демократии. Одну только Чугуеву никому в голову не пришло проверять. Так она и вынесла на белый свет эту загогулину. Осип думал, невесть какое добро, побежал приценяться. В Торгсине едва взглянули, сказали, что медь не берут. После того он целый день скалился на Чугуеву, будто она самолично смастерила старинную подвеску и нацепила на покойницу.

— Поняла теперь? — спросил Митя.

— Поняла, Митенька, поняла.

— Висюлька при тебе? Давай сюда.

Она, сопя, покопалась за пазухой и подала медное украшение, похожее на спиральную пружинку от часов. Митя с удивлением оглядел ее и спросил:

— Это она и есть?

— Она.

— Темны бояре. Я бы им за одну смену сотню таких накрутил. Кто тебе преподнес эту хреновину?

— Сама взяла.— Ужас совсем отпустил Чугуеву. Ей было смешно, что бригадиру приходится отвлекаться на

пустяки.— Гроб прохудился, она и выпала. И мослы выпали. Мослы, Митя, черные. Страсть.

— Ладно про мослы. Значит, сама взяла?

— Нет. Покойница подарила.

— А зря у тебя губки на улыбке! Врешь ты.

— Не вру, Митя. С чего бы, сам пойми, врать? Чего мне за это, фамилию сменят? Уж коли врать, так от души, чтобы ночью вскакивать.

Она словно захмелела. Ей вдруг захотелось с огнем поиграть, поозорничать возле рыжего недотепушки. И наговорила бы она невесть чего, да новый человек сбил с настроения.

Появился этот человек в длинном, до пят, кожаном реглане. По высокому росту и брюзгливому выражению, которое посетитель притащил на лице с морозной улицы, можно было ожидать, что он загремит сейчас начальственным баритоном. А он не загремел, а зашептал шершавым шепотом:

— Где же твой Лобода околачивается? Небось храпака задает? Вешалка у тебя есть? — Шептун заметил гвоздь, по-хозяйски повесил реглан и кепочку и, не торопясь, стал зачесывать чалые волосики к темени.

— Мы вас не ждали, товарищ ученый,— объяснил Митя.— В письме вы на завтра назначены.

— На завтра, на завтра! — передразнил ученый, хотя и шепотом, но весьма ехидно.— Подвеска-то, вон она, уже на столе. До завтра-то сюда и Трушин, и Грущин, и Идельсон — все набегут... Коллеги, называется. Друг у дружки кости изо рта тащат. Субъективные идеалисты, сукины сыны. Трушин тарелки крестит, к вашему сведению...

Чугуевой можно было бы идти, а она уставилась на шептуна, уж очень он был чудной. В кургузом пиджачке, в грязноватой сорочке с разными пуговицами, без галстука, он походил на коменданта мужского общежития. И карандашик с гильзой от нагана вместо колпачка торчал из грудного кармашка, как у коменданта. А самое чудное было то, что он не говорил по-людски, а шуршал, как перекрученный динамик.

Ученый стряхнул перхоть с пиджака, подул на рас-

ческу, выложил на колено жестянку от монпансье и начерпал оттуда в козью ножку махорки восьмого номера. Небрежно покрутив подвеску, он ядовито усмехнулся:

— Эта медяшка академика Трушина три года кормить будет... А не я, никто бы ее не нашел. Академики молодежных газет не читают.

Он спросил Чугуеву, откуда у нее это украшение.

— Нашла,— ответила Чугуева.

— Где?

— На земи, в шахте... Верно, обронили... Я сроду...

— Мы в тот день нацелили бригаду на две нормы,— поспешно перебил Митя.— Вот так вот — забой, а вот так мы с Васькой бревно тащим. И тут как с правого бока загремит! Глыба как саданет, бревно с плеч сшибла, верно, Васька? Боковая стенка обрушилась. Глины навалило с эту комнату.

— Меньше, Митя,— вставила Чугуева.

— Может, немного меньше...

Ученый пошел к реглану. Митя удивленно замолк.

— Продолжай, продолжай. Я слушаю,— прошипел ученый.

— Обвалилась, значит, земля,— продолжал Митя нерешительно,— и открылся лаз. Проще говоря, черная дыра, пещера. Я, конечно, убрал людей, велел марчеванить. Подошел к дыре, слышу, капает. И духом оттудова старинным несет. Послушал, послушал, крикнул: «Комсомол!» Тихо. Фонарик конца не достигает — вольтажа маловато. Лаз, видать, длинный. Полез я туда, прошел шагов пять ли, десять, хлоп лбом. Пощупал, ящик углом торчит. Посветил, никакой не ящик, а самый обыкновенный гроб. Ноги. А дальше как положено. Пришла археологическая комиссия. Неделю поковырялись и ушли.

— Они ушли, зато мы пришли,— прошуршал ученый.— Поглядим, что за дыра.

— Теперь уж не поглядите. Завалили ее. Затрамбовали.

— Что значит завалили? — зашипел он.— Кто разрешил?

— Археологическая комиссия. У нас акт.

— Вот вам, пожалуйста! За черепками гонимся, а мил-

лионы упускаем... Мы предупреждали: фиксируйте ходы, проверяйте ходы, оставляйте схемы ходов, пока копают метро. Такого случая не повторится! При вдумчивой постановке дела твоя дыра привела бы нас, может быть, знаешь куда?

— Куда? — спросил Митя безучастно.

— В кремлевские тайники, к вашему сведению, в подземные терема Ивана Грозного. Там царская библиотека нас с тобой дожидается. Ваттерман полагает, больше восьмиста томов. Тацит, Ливий, Цицерон, Полибий, к вашему сведению. Поэмы Кальвуса. Придется останавливать работы. Расчищать ход. За такую библиотеку можно десять Днепрострое поставить.

— Выходит, ежели бы я тем ходом пошел, под самый бы Кремль забрался? — спросил Митя.

— А почему нет? Свояк-то царский, Морозов, боярин, Борис Иванович только тем от холопов и спасался, что свой ход имел. Тогда в Кремле вся знать обитала: князья Черкасские, Трубецкие, Милославские и прочая шантрапа. И у каждого от кремлевских ворот в загородные владения свое личное метро было. Библиотеку Ленина знаешь? На том месте опричный дворец Грозного стоял. Бывало, стража хватится, где, мол, государь Иван свет Васильевич, а его нету. А это он подземным ходом на Воздвиженский остров уходил тайные суды вершить. Да что говорить! И под Голицынской больницей, и под Сухаревой башней, и под домом Минина — всюду ходы. А под Кремлем и подавно. Прошлый год курсанты вышли на физкультуру возле дворца, ну, там, где Александр Второй родился. Один прыгнул и провалился. Уцепился и висит... Вытащили его, замерили глубину — шесть метров. Стали воду лить — уходит. И что сделали? Тамошний комендант не умнее археологической комиссии — насыпал в дыру песка и никого не подпускает... А, что говорить! Лично мне эта подвеска ни к чему, но если я ее первый в газете разглядел, так уж извини-подвинься! А то они натаскают бирюлек и тешатся, пишут трактаты, как человек произошел от обезьяны.

Ученый аж посинел, но шипел с прежним ожесточением.

— Может, воды им принесть? — тихонько спросила Чугуева Митю.

— Не надо, не надо...— замахал на нее ученый.— Это мне в детстве отец нарыв в горле вспорол, да неловко: стеклышком резал, повредил связки. Ерунда. В оперу не наниматься. Что, невеста, закручинилась? А ну, почему в Москве улицы кривые? Куда ни пойдешь, кривоколенные переулки? Почему? А?

— Не знаю,— застеснялась Чугуева.— Я нездешняя.

— А потому, что на прямой улице сквозняки, для огня способней. И повелели московские цари ставить дома кривулями. А Ключевский врет, что библиотека сгорела. Ну ладно. Скажи Трушину, что подвеска у меня.— Он бережно, с осторожностью ревматика надел реглан.— Да, а где же все-таки ты ее раздобыла?

— На земи. Нашла и взяла.

— Быть не может. В гробу небось копалась?

— Да что вы, господи. Да она, я думаю, не из гроба.

— А откуда?

— Мало ли. Мы чуть не каждый день то подкову выкапываем, то печной изразец. А подвеску я на кругу нашла. С полкилометра от забоя.

— С полкилометра? — Ученый как стал надевать галошу, так и застыл не надевши.— Невероятно... Впрочем... Не сообщаются ли ходы? К этому вопросу придется вернуться. А Трушину скажи: «Осипов подвеску унес». Не забудь! — Ученый весело подмигнул Мите и ушел.

— Слава богу,— перекрестилась Чугуева.

— Чего слава богу? — мрачно поглядел на нее комсорг.— Кого обдурить поровишь? Академика? Висюлька-то твоя парная. Боярские девки цепляли их в паре в волоса под виски или на уши, где они красивше глядят, хрен вас знает. Ученые разобрали гроб, а висюльки недочет. Одна на скелете, другой нет. Они там все мослы перещупали, прах пересеяли, твою висюльку искавши... Думал, отдам ее и закроем дело. Не хотелось, по правде говоря, ни на бригаду, ни на тебя тень наводить. Деваха ты больно надежная.

— И ты, Митя, хороший комсорг.

— Обожди. Теперь-то до меня дошло, кто тебе брильянты дарит.

— Кто? — насторожилась Чугуева.

— А вспомни. Кто возле дыры дежурил?

— Не ты?

— Нет, не я. Это правда, что ты живешь с Осипом?

Она засопела потупившись.

— Нашла кобеля.

— А тебе что? Не тебе терпеть.

— Обидно нам за тебя! Что мы, не видим, что ли.— Митя разъярился.— Да он, сукин сын, с Мери путается. Конфетки ей носит! А твой хлеб жрет. Сколько вас в комнате?

— Сорок две.

— Как сорок две? Ты вроде в маленькой жила?

— Меня в залу переселили.

— Где сцена?

— Туда. У нас там шесть коек установлено.

— И где же у вас с ним свиданки?

— На сцене. Где же еще?

— Так вот мое предложение: еще раз Осип к тебе придет налаживай его под зад коленкой.

— Да ты что, Митя? За что?

— А за то, что он спер казенную брошку и навесил тебе на шею. Вот за что. Вот только на что она ему понадобилась?

— Так там камушек...— обмолвилась Чугуева и прикусила язык.

— А-а, камушек! Ясно. Осип на тебя навесил, а ты вынесла. Так?

— Прости, Митя.

— Да чего тут прощать? Ты в этом деле завязла не по корысти, а по глупости. Все ясно. Осип плановал подвеску загнать, а камушек-то оказался — стекляшка. Вот он тебе и подарил ее от всего сердца... Так?

Чугуева молчала. Каждая минута молчания все более разоблачала ее приятеля, но она так растерялась, что не могла прибрать слова к слову.

— Давай вот что,— подытожил Митя.— Поставим этот вопрос на сменном собрании. Чтобы тебя не посчитали

соучастницей, проси слова и давай фактами его по носу, ворюгу. Он у меня вот где сидит... Самое время расквитаться. Договорились? Все.

Чугуева медленно направилась к двери. Слушаться бригадира было непреложным законом проходчиков. Она понимала, вольной жизни ей оставалось три дня. Через три дня соберется смена, и разоблачения Осип не стерпит. Она уже слышала его ржавый голос: «А ты скажи товарищам комсомольцам, откуда ты сама-то явилась... Позабыла, кто ты такая? Напомним...». У нее потемнело в глазах. Она потопталась у дверей, спросила:

— А промолчать нельзя, Митя?

— Почему нельзя? Можно,— с готовностью откликнулся комсорг.— Не хочешь кавалера выдавать, бери письмо и ступай в Академию наук. Вот так вот.

— Пошто?

— А там обсядут тебя академики, а ты им разъясни, как боярыня-покойница из гроба встала, погнала вагонетку и обронила серьгу у поворотного круга. Ступай!

— Осподи Иисусе!

— Ступай, ступай! Чужаков пригреваешь? И откуда у тебя такая гнилая идеология? Дикая ты еще девка! Погляди кругом, что творится! Стратостат залетел черт-те знает куда, выше господа бога, летчики вывозят челюскинцев, колхозники забрались на Казбек и шлют оттуда приветствие товарищу Сталину. Для нашей молодежи нет ничего невозможного! Это кто сказал?

— Сталин?

— Ты это сказала. Вот, читай.— Он подвинул газету с ее портретом.— А выступать трусишь. Ступай. Выступишь на собрании. Все.

Она вышла и встала столбом в коридоре. Три дня — срок большой. Может, Митя забудет, может, собрание отменят, может, захвораю, бюллетень дадут — хваталась она за соломинки. Какое чудо произойдет через три дня, неизвестно. Одно было известно — выступать против Осипа у нее не хватит духа ни через три дня, ни через месяц, ни через год.

11

А дела у Мити были такие: бросить все и бежать к Тате. Она добыла два билета на «Дни Турбиных» и велела сопровождать ее.

Ничего не поделаешь, навязался в ухажеры, повышай культурный уровень.

Он уцепился за последний вагон «Аннушки бульварной» и, щурясь на белое пятно солнца, поплыл на подножке.

Апрель выдался жаркий. По откосам бульвара на пригревках торчала свежая счастливая травка. На бронзовой голове Пушкина сидел голубь. Панели были разрисованы кривыми классами.

На этот раз Тата афиш не читала. Она заметила Митю издали и не сводила с него радостных глаз. Она обняла его, взвизгнула и поцеловала. Прохожий товарищ строго оглянулся. Она показала прохожему товарищу язык.

— Ты что? — Комсорг 41-бис покраснел.— Ошалела?

— Какой ты смешной, Митя! Ужасно! — воскликнула она, сияя лицом и глазами, и чмокнула его еще раз.— А у меня новость! Угадай, какая? — И не дала угадать: — Папу вывезли. Заложили в бомбовый отсек и привезли на материк... Какие у нас громадные бомбы, представляешь? — понизила она голос, чтобы не услышал какой-нибудь шпион.— Возьми меня под руку. Мы же идем в Художественный театр... За два дня со льдины вывезли пятьдесят семь челюскинцев, и восемь собачек вывезли, представляешь? Я считаю, что самые лучшие в мире летчики — наши, Митя! Господи, боже ты мой! Как подумаешь, в какой стране мы живем, дух захватывает! Как ты думаешь, когда коммунизм будет? Через десять лет будет? А?

— Раньше. Мы оформляем метрополитен драгоценными материалами: гранитом, мрамором, бронзой. С расчетом на коммунизм. Ясно? Я думаю, сперва коммунизм настанет в Москве, а потом на периферии.

Они шли вниз по Кузнецкому. Тата болтала про папу, про места в партере, про бухту Лаврентия, про коммунизм и лезла напролом под грузовики, под морды добродушных першеронов. С карнизов сбивали гремучие ледяные люст-

ры; она лезла и туда, на свистки дворников, на веревочные ограждения.

Театра еще не было видно, а лишний билетик уже выпрашивали. Тата с приятным сочувствием отвечала, что, к сожалению, у них только два, а Митя терпел-терпел, да не выдержал и прогундосил:

— Есть один. У Винницу с пересадкой.

Было еще светло, а в Камергерском, вдоль длинного здания МХАТа, похожего на курьерский поезд, парадно светились молочные фонари, а у входов, как на перроне, бесцельно толпились театралы. Из автомобиля вышел комкор или комдив, огромный, в полторы натуральной величины мужчина, и, придерживая лакированную каретную дверцу «газика», сделал вид, что помогает выгрузиться дородной супруге. Кто-то ради шутки спросил лишний билетик и у него. Вокруг почтительно захихикали. Комкор сердито поставил брови домиком и, звеня шпорой, шагнул в среднюю дверь.

— Нам тоже сюда,— сказала Тата.— У нас четвертый ряд. Держи билеты. Хранить полагается до конца спектакля.

Клетчатая дверь была украшена медным кольцом, надраенным до золотого блеска. За второй такой же дверью сразу начинались тесные предбанники вешалок. Там суетилась пестрая публика: конфузливые ударники в галстуках, затянутых, как на покойниках, грудастые замоскворецкие активистки в полосатых футболках, близорукие студентки в рейтузах, служащие с «Правдой» в карманах, театральные старухи в стеклярусе и аграманте, в попонах до полу, помнившие премьеру «Царя Федора Иоанновича». Старухи медленно кивали друг другу стоячими черепаховыми гребнями и поровили сдать шубы без очереди. Разноцветными леденцами слиплась в углу туркменская делегация. Возле зеркала прихорашивались после трамвайных баталий запудренные, как после истерики, жены. Одна была в такой бесстыдной просвечивающей блузке, что Митя был уверен: сейчас ее сдадут в милицию. Он сочувственно покосился на мужчин, отыскивая взглядом мужа полуголой модницы, но служащие были на одно лицо — в коротких пиджаках и с газетами в карманах. Они покорно

жались у стен с сумками, авоськами, ридикюлями и старались не смотреть в зеркало.

— Митя! — позвала Тата шепотом.— Помоги раздеться. Ты не в душкомбинате.

Словно куколка, отделилась она от легонького манто и повернулась на каблучках. От неожиданности Митя наступил кому-то на ноги: на ней была точно такая же стеклянная блузка, как и на той, запудренной. И так же бесстыдно просвечивались розовые лямки лифчика. И рубашонка тоже, кажется, была прозрачная. «Вот это да,— подумал Митя,— бухту Лаврентия знает, а пришла — ровно в баню».

— Что с тобой? — Тата поглядела на него внимательно.

Митя отвел глаза.

— Пойдем сядем,— сказал он.— Простынешь.

— Что ты! Подержи сумку.— Она принялась оправлять белокурые колечки возле широкого зеркала.— Сейчас я тебе все, все покажу. Здесь работает мамина приятельница, Фаина Михайловна...

Билетерши пропустили прозрачную Тату без звука. Она потащила Митю по лестницам и ярусам к фотографиям лучших в мире артистов лучшего в мире театра. А когда артисты кончились, вспомнила про Фаину Михайловну и повела его изогнутым, смахивающим на штольню коридором. Дверь, за которой работала Фаина Михайловна, была заперта. Тата подергала медное кольцо. Никто не отпирал. Она постучала.

— Пойдем сядем,— сказал Митя.— Места займут.

— Ты что? Забыл, где находишься? — строго напомнила Тата и постучала еще.

Потный, затянутый в клетчатую тройку толстячок явился словно из-под земли.

— Что? Хода нет? Что? Кого надо?

Тата вежливо справилась о Фаине Михайловне.

— Фаина Михайловна выходная. Вы от какой организации?

Она не успела ответить. Дверь приотворилась, и женщина, похожая на индейского вождя, гремя тройным ожерельем, крикнула:

— Иося, где же вы?!

— Здравствуйте, Фаина Михайловна! — обрадовалась Тата.

— Привет! — крикнула женщина сердито, втащила толстячка и заперлась изнутри.

— Агентов играет? — спросил Митя.

Тата повела острым плечиком.

— Фаина Михайловна — правая рука Владимира Ивановича. Она никого не играет. Страшно перегружена. Жутко.

— А кто Владимир Иванович?

Тата испуганно оглянулась.

— Владимир Иванович — это Немирович-Данченко. В кабинете Владимира Ивановича стоит фотография Чехова с дарственной надписью. Фаина Михайловна, когда она в духе, пускает меня в кабинет... Подождем. Может быть, она выйдет.

— Ладно тебе... Слышишь, звонят.

Они прошли в зал. Театральный шум, похожий на шум морской раковины, заполнял все пространство от покатого, обтянутого серым сукном пола до поваленных приютским колером изгибов балкона и постных узоров плохо оштукатуренного потолка.

— Сейчас я тебе покажу кресло Станиславского! — сказала Тата.

Знаменитое кресло в среднем проходе ничем не отличалось от других кресел. Но Тата села на это кресло с таким видом, будто через нее сейчас пропустят электрический ток.

Митя поморщился. Ему претила хитроватая скромность медной таблички, на которой была вырезана фамилия великого режиссера.

Других достопримечательностей в театре не было, и они пошли искать свой ряд. Митя как в воду глядел — места были заняты. С краю сидел молодой, совершенно лысый человек. Рядом, видимо, его приятель.

— Простите, товарищи,— сказала Тата.— Это четвертый ряд?

— Четвертый.— Лысый взглянул на нее, не поворачивая головы.

— Это наши места. Будьте добры.

— Ступайте к администратору.

— Зачем к администратору? У нас билеты... Митя, покажи товарищам. Вот, пожалуйста. Двадцать второе, двадцать третье. Места следует занимать согласно взятым билетам.

Все так же, не поворачивая головы, лысый осмотрел Татины бретельки и повторил:

— Ступайте к администратору.

— Слушай, друг,— сказал Митя.— Мотай отсюда добром. А то за нос вытяну.

Исполнить это намерение ему помешал клетчатый толстячок. Он коршуном подлетел к месту происшествия и стал теснить Тату и Митю тугим животиком, маскируя свои, в общем-то, насильственные действия вежливой словесной трухой:

— Прошу... сюда, пожалуйста... окажите любезность... осторожно, ступенька... все, молодой человек, в порядке, в полном порядочке, не сюда, пожалуйста... окажите любезность... исключительные места, замечательный угол зрения...

Митя думал, что их выгоняют за прозрачную блузку, и не очень сопротивлялся...

Они оказались не единственными несчастливцами. Через минуту администратор привел новую пару: комкора и его супругу. Военный сердился, звенел шпорой и требовал Станиславского. Затравленный администратор поднялся на цыпочки и зашептал комкору в волосатое ухо. Подвижные, как у сеттера, брови командира встали домиком, он замолчал и сел, куда велено. Супруга начала было ворчать. Он скомандовал «Сидеть!», и инцидент был исчерпан.

— Смотри, смотри, Митя! — воскликнула Тата.

Снизу, из середины партера, махал программкой Гоша. Она с помощью пальчиков попыталась назначить ему в антракте встречу. Между тем свет гас. Шум утихал. Изуродованная складками, белая птица на занавесе осветилась. Раздался медный удар, и занавес, заметая пыль, стал раздвигаться. Открылась уютная гостиная: колонны, диванчик, закиданный дум-

ками ручной работы, камин. Бронзовые часы заиграли менуэт.

— Ни черта не видать,— проворчал Митя и замер. Его руку накрыла лишенная веса Татина рука.

Он покосился: может, это так просто, по ошибке? Серые глаза Таты внимательно глядели на сцену, а губы явственно шепнули:

— Не сердись. Хорошо?

Словно теплая волна окатила Митю. Он сжал ее пальцы так, что узенькая кисть свернулась трубочкой, и твердо решил, как только кончится представление, отвесить лысому что положено.

— Больно,— нежно шепнула Тата.

Он закрыл глаза, опустил руку на ее бедро. За тонкой юбкой угадывалась резинка. Он провел рукой повыше, пониже. Нога была литая, как у памятника. Тата следила за пьесой внимательно, а милые беспомощные пальчики поглаживали и поглаживали Митину руку.

На момент она замерла, отняла пальцы. Митя насторожился: не слишком ли он развольничался?

— Смотри! — шепнула она.— Алла Константиновна! Ну да, она! Представляешь?

Что было в этом удивительного, Митя не понимал и не хотел понимать. Его кольнуло, что в такую минуту Тату может занимать какая-то Алла Константиновна. Он попытался сосредоточиться: на сцене красивый белогвардеец орал, что в Москве едят кошек, пил настоящий горячий кофе (из чашек шел пар) и ругал большевиков.

Половинки занавеса важно пошли друг на друга. В зале зажегся свет. Митя отдернул руку и стал хлопать. Похлопав столько же, сколько все, они вышли в коридор, закруглявшийся влево, и стали гулять в длинной очереди. Тата молчала, но молчала как-то особенно, словно ждала чего-то. А Мите было совестно. И чем дольше тянулось молчание, тем труднее становилось его нарушить.

— Огонь в камине фальшивый,— сказал наконец Митя.— На понт берут, тряпки раздувают.

— Может быть,— ответила Тата.— Здесь страшно строгие правила пожарной безопасности.

И снова потянулось нелепое молчание... В толпе мельк-

нула долговязая фигура Гоши. Тата подозвала его и жадно затараторила: в программе указана Соколова, а играет Алла Константиновна. Замена, видимо, произошла в последнюю минуту, иначе в программках было бы сделано исправление. Наверное, с Соколовой что-нибудь случилось.

— С Соколовой ничего не случилось. — Гоша загадочно улыбнулся.— Она в добром здравии. А вот Алла Константиновна осмелилась не вовремя грипповать... Ее вынули из постели и заставили целоваться с Прудкиным. Теперь загриппует Прудкин...

— И откуда тебе все известно?

— Я здесь свой. Разнюхали о моей повести. Завлит предложил сделать пьесу о Метрострое. Соблазнили авансом. Чем черт не шутит, вдруг в драме-то я и найду себя!

Гоша стал растолковывать Тате, как надо писать драму, а Митя стоял между ними третьим лишним.

— Моя мысль — соединить греческую трагедию с модерном — вызвала форменный фурор,— болтал Гоша.— Зацеловали. Тут у них архиерейские обычаи. Все целуются. По любому поводу. Я еще ничего не написал, а уже целуют. Контрамарки, пропуска — будьте любезны. Мест нет — в особенную ложу пожалуйте...

— А почему сегодня не в особенной? — не удержался Митя.

— По той же причине, по какой сегодня играет Тарасова, а не Соколова,— ответил Гоша и круто свернул на другую тему.— Вы видели горельеф Голубкиной? У главного входа, под козырьком? Полюбуйтесь обязательно. Называется «Волна». Шедевр. Сочная, рыхлая лепка...

— Давай смоемся,— тихо предложил Митя.

Она утвердительно мигнула, сделала вид, что забеспокоилась, как бы и верхние места не заняли. Гоша загадочно хмыкнул, и Тата с Митей отправились наверх. Звонков долго не давали, зал жужжал. В пустом ряду возвышался военный. Густые брови его так и стояли домиком. Митя томился, ждал темноты. В полупустом партере, в четвертом ряду, как приклеенные, сидели лысый и его приятель. За ними разноцветной шелковой лентой протянулась туркменская делегация.

Наконец свет потух. За сценой ударили в медную кастрюлю. Митя по-хозяйски положил руку на Татино бедро, она приклонилась к нему, и он возле самого уха почуял чистый ветерок ее дыхания. Зачем артисты говорили по-немецки, а потом по-украински, зачем мерили сапоги и дрались, Митя понять не пытался. Сумасшедшее предчувствие счастья заполняло его до краев. Татина грудь напрягалась и опадала, и, когда на сцене стали ломать парты, он сказал:

— Пошли отсюда, Татка.

— Ты с ума сошел! — возмутилась она, но поднялась первая.

Ворами пробрались они на красный огонек запасного выхода. Кривые коридоры были загадочно пусты. И Мите вдруг показались загадочными не только пустые коридоры, а весь театр, Москва, мир, Тата и он сам, Митя Платонов, с его внезапно вспыхнувшей любовью. Из зрительного зала почему-то доносилась артиллерийская канонада. По лестнице почему-то бежал военный с бутылкой боржоми. На улице почему-то падали мокрые белые лохмотья. Тата вспомнила про Голубкину, и они подошли посмотреть. Сквозь беспорядочно наляпанные комья цемента проступали измученные рты, черные глазницы...

За снежным тюлем возникло белое видение и посоветовало дружелюбно:

— Пройдите, товарищи. Ничего интересного.

Они отошли. Между ними было давно условлено, что на Кропоткинскую Митя провожает Тату пешком.

— Как пойдем? — спросил он.— По Моховой или по Газетному?

— Как хочешь.

— Пойдем по Моховой. Между прочим, Татка, я тебя люблю. До беспамяти.

— Я знаю.

— Давно?

— Давно. Ты еще сам не знал, а я знала...— Она подумала и добавила: — Теперь я хочу только одного — чтобы ты говорил правду.

— А я что, вру, что ли?

— Врать не врешь. Но иногда скрываешь.

— Чего мне скрывать? Что у меня, отец — уклонист? Зачем мне это?

— Не знаю зачем. Сегодня тебе не понравилось, как я одета.

Митя промолчал.

— Ну вот. У меня много тряпок. Когда мы пойдем куда-нибудь вместе, я оденусь, как ты скажешь.

Он взял ее за плечи, прислонил к мокрому стволу липы и поцеловал. Она судорожно передохнула и сказала:

— Еще.

Они шли и целовались возле университета, у магазина старой книги, у ларька, у метростроевской ограды, возле Музея изящных искусств, у пустыря, где недавно возвышался храм Христа Спасителя. Они целовались на Моховой, на Волхонке, на Пречистенке, и с головы Таты падала заячья ушанка. Она нахлобучивала ее то боком, то задом наперед, а через минуту ушанка весело падала снова.

— Ну вот я и дома,— сказала она внезапно.

И правда, пятиэтажная громада с пузатыми балконами стояла рядом, словно ее кто-то поднес и поставил перед Митиным носом.

— Слушай, Татка. Давай бросим предрассудки и поедем к нам,— сказал он.

— Куда это?

— А к нам. В Лось.

— Какой ты глупый! — Она поцеловала его в левую бровь.— Да ведь к вам в общежитие вход и днем воспрещен.— Она поцеловала его в правую бровь.— А сейчас ночь.

— Поедем! Я Василисе скажу: ведро унесли.

— Какое ведро?

— А у нас там, понимаешь, щит. Багор, топор, прочие причиндалы для пожара. Скажешь: «Василиса, ведро унесли», она скок-скок на проверку. Пока добегла доскачет, заводи кого хочешь. Поехали!

— И часто это тебе удается?

— Да это не я выдумал. Это Круглов. В нашей комнате пятеро. Есть у кого учиться. Поехали!

— Подумай, что ты говоришь! Пять парней в комнате, и вдруг я. Да еще в батистовой кофточке.

— А чего такого? Они курить выйдут.

— Подожди.— Она поцеловала его.— В мае мама переедет на дачу, в Малаховку. Она с сестренками уедет, и дома не будет никого. И ты придешь ко мне в гости.

— С ночевкой?

— Какой ты смешной, Митя,— сказала она.— Просто ужасно.

Парадная дверь хлопнула. Он остался один. Осиротевшая улица далеко и ровно светлела свежим снегом.

«А теперь вопрос на сообразительность,— звучали в его ушах последние слова Таты.— Кто самый милый, самый умный, самый красивый?..»

Оставляя на снегу черные оттиски, он перешел дорогу и сел на каменную ступеньку.

Тата жила на четвертом этаже. Он не помнил, куда выходят ее окна, на улицу или во двор, и все-таки ждал, когда зажжется свет. Словно кто-то шепнул ему, что Татино окно — третье слева. И с новой, еще большей силой, чем в театре, его поразила жутковато-сладкая загадочность жизни: почему Гоша пишет рабочую пьесу, почему вместо Соколовой играет Тарасова, почему военный прытко бежал с бутылкой боржоми? И зачем он, Митя, комсорг передовой шахты, сидит под мокрым снегом на Кропоткинской улице? Ладно бы любил. А то ведь, если честно признаться, и сам не понимает, любит или не любит. А в третье окошко поверил.

Словно лица на горельефе Голубкиной, проступали мелкие происшествия и лики прошедшего дня: свирепые поздри Фаины Михайловны, лысая голова, брови домиком, загадочная болтовня Гоши, бесконечная цепочка зрителей в антракте, медная табличка. Будто сквозь волшебное стекло, он увидел: двое сидят на Татиных местах в партере. А сзади, за ними, в пятом ряду, тоже возле ложи директора, еще двое. Как пришли, так и сели наглухо, в антракте не выходили ни в буфет, ни по прочим надобностям... И наклейка на боржомной бутылке была особенная, лакированная, как картинка в детской книжке.

В третьем окне зажегся свет. Митя вздрогнул. В загадочном мире жить было любопытно и страшновато.

12

На следующий день Митя не позвонил. Тата слегка обиделась, хотя знала, что в рабочее время добраться до служебного телефона ему не так просто.

Минуло еще два дня. Митя не звонил. На третий день она не пошла в столовку, а с яростным терпением стала пробиваться сквозь сигнал «занято» до конторы шахты. На вопрос о Платонове мужской голос отрезал:

— Не мешайте работать,— и бросил трубку. А через полминуты телефон 41-бис снова был безнадежно занят.

Пришлось ждать. В подвыходные дни Митя звонил регулярно. На этот раз он не позвонил и в подвыходной. Просидев возле онемевшего телефона после работы полчаса, Тата сказала вслух:

— Ну и пусть,— и отправилась в парикмахерскую.

А в этот самый день Митя пробудился от резкого голоса:

— Вы мне снимки давайте! Это дерьмо я смотреть не буду! Потрудитесь повторить рентген и приготовить нормальные снимки!

Голова Мити была туго забинтована. Он лежал в какой-то больнице. Соседняя койка была загорожена спинами врачей. Женщина монотонно псалтырила:

— Реакция Вассермана отрицательная. Кровотечение из носа и правого уха. Неадекватно смеется...

Митя попросил пить.

Женщина наклонилась над ним и читающим взглядом посмотрела в его зрачки.

— Опять проснулся,— сказала она кому-то и подала воду в мензурке.

— Колите еще. Немецким,— велел кто-то.

Митя хотел узнать, что с ним стряслось, но двигать языком не было сил. Его поворачивали на бок, заголяли, и мимо сознания скользили отрывочные фразы:

— Мне, Валя, за тебя опять досталось!

— А что ты думаешь? Брынзу выбросили, а я из очереди побегу?

— Брынзу? По какому талону?

— По ударной карточке. Сколько кубиков?

— Два хватит... А в нашем Церебкоопе ничего не дают. Первое мая на носу, а полки пустые.

— Вся задница исколота... Перекрепляйся к нам. Вчерась яичный порошок давали.

— Кто меня перекрепит... Давай в левую...

Строго запахло спиртом. Ловкие руки повернули Митю на спину, набросили одеяло. Ему показалось, будто он спрашивает, что с ним, а ему отвечают — узнаете в очереди за брынзой. Он вышел на улицу, но не мог найти очередь, потому что было темно, хотя солнце поднималось. И чем выше оно поднималось, тем становилось темней...

Когда он проснулся, седоусый старикашка в повязке Гиппократа благодушно смотрел на него с соседней кровати.

— Дед! — шепнул Митя.— Не знаешь, ничего у меня не отрезали? Руки, ноги? А?

— Здесь руки-ноги не режут,— охотно пояснил старикашка и неадекватно засмеялся.— Здеся головы латают. Меня вон гирькой вдарили, да так ловко, что ни один доктор не может доказать, куда я теперича годный.

— А я давно тут?

— Сам не помнишь?

— Нет.

— Это бывает. Два ли, три ли дня, вот так вот.

— А может, неделю?

— Может, и неделю... С сестрицей бранился. Насос какой-то чинить приказывал...

— Чего шепчете?! — Парень, лежащий за старичком, приподнялся на локте. Голова его была замотана. Сквозь дыру в бинтах виднелся черный безумный глаз.

— Не про тебя. Спи! — отмахнулся старикашка. И разъяснил, будто того не было: — С парашюта прыгал, убился. Чумовой. Говорит, что ему операцию будут делать под током, пущенным из Германии... Грозился два полка пригнать, порядки наводить... И жена, говорит, у него поддельная.— Старичок обернулся, окликнул: — Слышь, Степа!

— Х-а! — взметнулся парашютист.

— Баба у тебя поддельная?

— Поддельная!

— Какая же поддельная, когда она тебе куру принесла?

— И кура поддельная.

— Вот ты его и возьми за рупь, за двадцать! — засмеялся старичок.

Днем пришел товарищ Шахтком. Если бы пословица о том, что молчание — золото, оправдывалась вещественно, на молчании товарища Шахткома можно было бы заработать горы валюты. Он просидел возле Мити пятнадцать минут, вычеркнул фамилию из блокнота и ушел. И все-таки Мите удалось выведать две вещи: во-первых, с ним произошла производственная травма — на голову ему упал из фурнели мартын. А во-вторых, Лободу сняли с работы.

После ухода товарища Шахткома Митя накрылся с головой одеялом и впервые за много лет заплакал. Ему было жалко Лободу. Лобода измывался над Митей, бранил за чужую вину, обзывал при людях щенком, оставлял без надобности дежурить, два раза чуть под суд не подвел, спасая свою шкуру, дельные предложения Мити присваивал себе. Сколько раз Митя проклинал втихомолку бестолкового руководителя, сколько раз насмехался над ним, а узнал, что его нет, и заплакал. Видно, покинутому сироте и Лободы дороги...

Митя быстро привыкал к людям, к месту. Привык он и к больнице, к ячневой каше, к тому, как однообразно читали над ним при обходах:

— В детстве перенес корь и скарлатину. Окончил семь классов. Отец — рабочий-металлист, двадцатипятитысячник. Погиб от руки кулацких элементов. После гибели отца — три года в деревне, затем на рабфаке. С 1934 года — на Метрострое.

Через несколько дней ему разрешили выходить в садик. Он надевал байковый халат, садился на бортик сухого фонтана, замусоренного пустыми пачками «Пушки» и «Дели», беседовал с выздоравливающими.

Во время лечения черепных травм некоторые больные заражались манией преследования. Учитель математики из Митиной палаты сошелся с парашютистом на том, что одна смена врачей в больнице советская, а другая — антисоветская. В остальном это был человек здравомыслящий и под-

робно рассказывал, как его сбил с ног ученик на большой перемене.

Главная тема разговоров состояла в догадках, кого выпишут домой, а кого переправят в психдиспансер для полного и окончательного излечения.

Этот роковой вопрос решал консилиум врачей с участием знаменитого профессора Февральского. Профессор был известен тем, что носил милицейский свисток на шнурочке и заставлял больных вычитать из сотни по семи. Кто два-три раза собьется, того записывали в психи. У профессора были разработаны и другие испытания. Он заставлял, например, перечислять советские республики или подробно рассказывать, по каким улицам и переулкам пройти к Сухаревке. Если больной нервничал, шевелил руками, вспоминая, где право, где лево, в его истории болезни появлялся диагноз: «Нарушено воспроизведение пространственных взаимоотношений».

А самым неприятным испытанием было такое: профессор доставал колоду вырезанных из газеты и наклеенных на картонки фотографий, тасовал их, вытягивал наугад ворсистый от употребления снимок и спрашивал: «Как фамилия?» Тут даже бывалые товарищи пасовали. А в истории болезни писалось: «Нарушение узнавания известных лиц на портретах».

После разговоров о профессоре Февральском Мите стало все чаще казаться, будто кто-то сзади на него пристально смотрит. Он упорно боролся с безобидным психозом, но однажды во время беседы у фонтана это чувство стало таким противным, что не выдержал и обернулся.

С улицы сквозь чугунные копья ограды на него глядела Чугуева. Она была в своем всегдашнем, не то осеннем, не то зимнем плюшевом пальтишке.

Митя подошел. Бледное, отекшее от подземной жизни лицо ее исказилось похожей на улыбку гримасой. Она попыталась сказать что-то, может быть поздороваться, и издала невнятный придушенный лепет.

— Здорово, ударница,— помог ей Митя.— Гляди не замарайся. Решетка крашеная.

Приближались первомайские торжества. В столице

красили что попало: ограды, скамейки, фонари и плевательницы.

Чугуева взирала на него жадно, с восторгом и ужасом, как на воскресшего покойника.

— Чего вылупилась? — спросил Митя.— Как насос? Направили?

Она радостно кивнула.

— Сальники?

— Сальники, Митенька, сальники.— Мокрые глаза ее блестели кварцевым блеском.— Живехонький! Матушка-заступница! Надо же! Живехонький!

— Ну вот! Я и говорил, сальники. Ты у писателя бываешь?

Она кивнула.

— Про тебя пишет?

Она снова кивнула.

— Передай ему, чтобы он сказал девахе с почтамта, где я нахожусь. Ее звать Наташа. Тата. Он знает.

— Ходишь к ней, Митенька?

— Дело не твое. Передай, что сказано.

— Передам, как же...— Она поглядела на его ослепительно белый бинт на голове.— Косточки все цельные?

— Кумпол целый. Ключица срастается нормально. Поджывает.

— Осподи! Ключица!

— Ничего, Васька. На нашем базаре за битого двух небитых дают. А ты что же это, с физкультурной тренировки сбежала?

Под распахнутым пальто Митя заметил застиранную майку, хранившую воспоминания о синем цвете. А на голове Чугуевой была уродливо, до ушей натянута новая шелковая пилотка.

— Какая уж, Митенька, тренировка. Я без тебя вовсе рухнула. Как увезли тебя на машине, прибегла ночью. Круг больницы бегаю, бегаю, а в сени нипочем не пускают.

— По ночам отдыхать надо,— строго укорил ее Митя.— Знаешь, Васька, гляжу на тебя, мне все мерещится, что мы с тобой где-то встречались... Давным-давно, а будто встречались.

— Поправишься, не будет мерещиться... Ой, Митенька.

— Ладно, ладно, чего ты за меня переживаешь.

— А ты сдогадайся!

Она ухватилась обеими руками за решетку и сунула между прутьями лицо. В глазах ее томилось такое страдание, что Митя, вместо того чтобы напомнить о свежей краске, проговорил растерянно:

— Ну-ну... Нечего, нечего!

— Да как же нечего, Митенька. В тебя же мартын кинули.

— Не кинули, а уронили.

— Нет, не уронили. Сознательно кинули... А кто кинул, сдогадался?

Он поглядел на нее внимательно. Лицо ее, жирно прочерченное черными полосами краски, было белое как бумага. Мимо прошел парашютист в малиновом халате.

— Смотри, перемазалась,— сказал Митя.— Краска-то масляная.

— Шут с ней. Сдогадался?

— Нет.

— А ты раздумай.

— Нам тут думать не позволяют. А ты знаешь?

— Кабы не знала...

— Так ты что же считаешь,— нахмурился Митя,— вылазка классового врага?

Она засопела.

Снова прошел парашютист, остановился, спросил отрывисто:

— Жена?

— Выше бери,— улыбнулся Митя.— Ударница Метростроя. Газеты надо читать, Степа.

Парашютист оглядел Чугуеву недобрым взглядом и проговорил отчетливо:

— Поддельная.

Она отпрянула, словно ее хлестнули по лицу.

— Чего ты людей пугаешь? — укорил его Митя.

— Не имеет значения,— проговорил парашютист.— И сама поддельная, и пилотка поддельная.

Чугуева попятилась. Прохожие опасливо обходили ее.

- Иди сюда! — крикнул ей Митя.— Не бойся!

Парашютист погрозил пальцем. Она ахнула и бросилась бежать в сторону площади.

— Я говорил, поддельная,— сказал парашютист и спокойно отправился дальше.

На другой день Мите внезапно отвели отдельную палату с фикусом и с картиной «Оборона Петрограда». Из широкого окна открывался вид на бетонное здание сельхозснаба. Только Митя забрался на высокую перину, принесли графин с водой. Только заснул, притащили древтрестовский шкаф, пустой, но с овальным зеркалом. Дежурный врач дал понять, что спущено указание окружить больного метростроевца особой заботой. Сестры, поглядывая на него, стали кокетливо шушукаться, а профессор Февральский распорядился пропускать всех, кого комсорг шахты 41-бис пожелает.

На новом месте Митя выспался всласть. Пока спал — на фасаде сельхозснаба появился предпраздничный лозунг: «Очистим все колхозы и совхозы от кулаков, вредителей, лодырей, воров и расхитителей народной собственности. Выше знамя революционной бдительности».

Через два дня Чугуева явилась снова. Халат, не налезший на рукава, косо свешивался с крутых плеч, открывал майку и черные шаровары.

«Опять с тренировки смылась»,— понял Митя.

На этот раз она была непривычно нахальная, размашистая.

— Это чего у тебя? Капли? — Она взяла пузырек, понюхала и вылила лекарство в плевательницу.— Брось, не пей. Изведут тебя каплями-то... Во, гляди, я тебе хренцу добыла. Нюхай на зорьке. А капли брось...

— Где хрен-то добыла? — спросил Митя.

— Да я захочу, что хошь достану. Мы, нагорные девчонки, нигде не пропадем. Я к тебе было через все рогатки пробиралась... На другой день, как тебя положили. Взяла конверт и пошла.

— Какой такой конверт?

— Какие конверты бывают. Казенный конверт. Напечатала Нюрка на машинке: «Профессору Февральскому. Срочно, секретно. Лично в руки». Сургучом залепили, печатку поставили, все честь честью. С этим письмом я до

второго этажа пробилась. Пробилась до второго этажа, а там кучерявый, маленький такой, хвать меня за подол: это, мол, что за мымра? Куда? Я культурно кажу конверт. Поглядел, туды-сюды, давай сургуч колупать. Я, конечно, возражаю на это. Еще чего! Конверт секретный, а он сургуч нарушает. В общем, посадила я его на пол. Он в свисток свистеть! Набежали тут со всех сторон, стали меня хватать.— Она нервно засмеялась.— А этот, кучерявый, сам Февральский и есть. Как шуганули меня оттудова, куды с добром!

— Ну ты даешь стране угля! — пробормотал Митя.— Чего убегла давеча? Психа испугалась?

— А еще неизвестно, кто тут псих, а кто нет.— Она встала фертом, безуспешно стараясь выгнуться поехидственней.— Этот, настырный-то, меня с первого взгляда раскусил, а ты нет... Сказать, кто на тебя мартын спустил?

— Постой! Сперва сам попробую догадаться. Проверю классовое чутье. Осип?

— Не туды.

— Мери?

— Да что ты!

— Андрушенко?

— Круглова еще помяни!

— Тогда все. Сдаюсь. Кто?

Чугуева сникла, словно воздух из нее выпустили. Несчастная, измученная улыбка затрепетала на ее губах.

— Да я же, Мити-и-инька! — пропела она тоненько, и пение это незаметно перешло в тихий плач.

— Ты?

— А то кто же?

Это признание ошеломило Митю до такой степени, что он внезапно вспомнил, как лежал, оглушенный, в шахте, а Мери кричала: «Глянь! Бригадир выпивши!» Воспоминание блеснуло на мгновение и потухло. Он в упор взглянул на Чугуеву.

— А ну, перечисли республики!

— А чего такого? — На глазах ее еще блестели слезы, а она снова принялась ерничать.— Взяла да и кинула.

— Чего же плохо целила? — передразнил ее Митя.

— А без сноровки не угадать. Не каждый день...

— Перестань! Прекрати трепаться! Говори, кто?

— Я, я, Митенька. Какой мне интерес на себя врать? Помнишь, приказал про Осипа выступить? Я тогда до белого света не спала. Осипу-то известно, кто я такая.

— А кто ты такая?

— Лишенка беглая,— прокричала она злобно.— Классовый враг я тебе. Вот я кто!

— Ну, загинаешь! — Митя поднялся на локте, посмотрел на нее с любопытством.— И Осипу это известно?

— Известно.

— Из каких источников?

— Это сказка длинная...

— Обожди,— Митя хитро сощурился.— Осип у нас третий месяц. Чего же он про тебя не сказал?

— А зачем ему губить меня безо времени? На мою ударную карточку пирует да помимо карточки кой-что прихватывает... Как повелел ты мне выступить, побегла к нему: учи, мол, что делать. А он: ступай доказывай. Тогда и мы кой-чего докажем. Все равно, говорит, тебя надо уничтожать. Рано или поздно. Доказывай, да помни, мы в метре будем кататься, а ты в тайге медведей гонять. Застращал, спасу нет... У меня, Митя, с того дня волосы лезут...— Она отошла к окну, стала глядеть на улицу.

— Ну? — подбодрил Митя.

— Сейчас...— Она простояла молча полную минуту.— Сейчас, обожди... На душе удавка... На другой день говорит: «Про брошку-то один Платонов знает. Больше никто, дура». И ушел. Ничего не сказал, ни про мартын, ни про чего. Взяла я мартын, жду. Слышу, на механика шумишь: насос, мол, барахлит. Встал под фурнелью и шумишь. Под дырой прямо. Стоишь и стоишь, стоишь и стоишь, стоишь и стоишь...

До Мити донеслись конвульсивные лающие звуки.

— Хватит! — Он вскочил с постели, налил воды.— Пей давай! Кому сказано?

Она стала глотать, обливаясь и вздрагивая. Допила до дна, села на табурет и затихла, изумленная. Отдышалась, пришла в себя, проговорила буднично:

— Время идти. А ты ляжь. Чего на холоду в исподнем.

Митя укрылся одеялом.

— Пообсохну немного и пойду,— сказала Чугуева.

— Сиди. Как на шахте дела?

— Ничего. В управлении заведующего по кадрам поставили нового. Фамилия его Зись. Людский состав проверяет. Сам лично в штольню спускался Салахова ловить.

— Да Салахов же ударник!

— Ударник, а с душком. Отец белый атаман, бают. Это худо?

— Не больно хорошо.

— А если кулак?

— Не лучше.

— Ну вот. Салахов-то, бают, над молодыми измывался. Когда уши в кессоне ломит, велел конфетку сосать. Его в контору вызвали, а он учуял зачем, не вылазит. Зись лично сам с голым наганом его ловил.

Дежурная сестра возвестила нового посетителя. И красивая, счастливая Тата в крахмальном, проглаженном до рафинадного блеска халатике птичкой залетела в палату.

— Разве так можно, Митя! — защебетала она.— Как в воду канул! А у меня куча потрясающих новостей. Лежи и слушай. «Дни Турбиных» помнишь? Так вот. Вместе с нами спектакль смотрел знаешь кто? — Она покосилась на Чугуеву.— Ой, здравствуйте! Вы Васька, я не ошиблась? Не узнать просто невозможно. Гоша описал вас бесконечно талантливо. Я вижу, комсорг и вас заставил волноваться. Ничего, ничего! Его выписывают после праздников. Скоро, Митя, мы с тобой пойдем встречать папу. Его из Уэлена на собаках везли! Представляешь? А пока тебе необходимо питаться фосфором и железом. Я кое-что захватила.— Она принялась разворачивать пакетик.— Бакштейн, чеддер, тешка осетровая. Как тебя угораздило голову-то разбить?

Митя строго поглядел на Чугуеву и объяснил небрежно:

— Несчастный случай. Я жучил ребят, чтобы не становились под фурнелями, а сам встал. Вот и получил зачет по технике безопасности.

Чугуева удивленно подалась вперед.

— А тужить, между прочим, нечего,— продолжал

Митя, не сводя глаз с ее распухшего от плача лица.— Удар пошел на пользу.

— Что-то незаметно,— вставила Тата.

— На пользу! Мозги перетряслись, приняли законное положение, и в голову стали приходить мудрые мысли насчет чего-нибудь пошамать. Ну-ка, что за тешка? Угощайся, Васька! У тебя тоже с фосфором дефицит... А Тата хренку отведает.

Чугуева резко поднялась. Халат соскользнул на пол.

— Ты долго...— проговорила она дрожащими губами.— Долго будешь измываться коло меня?

Тата застыла с протянутым бутербродом.

— Хватит, поорудовали! — крикнула Чугуева с таким ожесточением, что сама испугалась своего крика.— Чего насмехаешься? Хоть посрамил бы! Развернулся бы да врезал по зубам, послал бы куда подальше! Или на такую жабину оплеухи жалко?

Тата ничего не могла понять. Удивленно всматривалась она в очерствевшее Митино лицо. Брови его сдвинулись, взор твердел, как у взрослого. «Таким он станет в старости, в тридцать или сорок лет»,— мелькнуло у нее в голове.

— Я считала, что вовсе тебя прекратила,— говорила Чугуева.— Мартын кинула и в буфет встала за винегретом. Вот как надо мной поработали. Душу вынули.

Она подняла халат, набросила как попало на плечи и пошла.

— Вернись! — приказал Митя. В ушах у него звенело, голова раскалывалась от боли. Но по-новому, властно звучал его голос. Чугуева встала лбом к двери.— Сядь!

Она села.

— Давайте не пороть чепухи, товарищ Чугуева. Это первое. Второе, я вам не Митенька, а комсорг шахты. И третье, если мы все запишемся в покойники, кто будет копать метро? И последнее, пока ты у меня в бригаде, с физкультурных тренировок сбегать запрещаю. А ну, повтори! Ходи на стадион!

— На стадион ходить,— вяло повторила она.

— Не все!

— И не помирать.

— И про мартын забыть целиком и полностью. Ясно?

— Что же я в милиции скажу, Митенька?

— Тебя милиция вызывала?

— Нет. Я сама...

— Нечего тебе там делать.— Он пристально посмотрел ей в глаза.— Тренировки надо посещать, а не милицию. А то Первого мая на Красной площади вся молодежь подымет руку, а ты — ногу. Очень будет замечательно. Ступай.

Белая дверь за Чугуевой хлопнула.

— Что это значит? — спросила Тата.

— Так, Татка, буза... Надо выписываться. А то они там вовсе мышей перестанут ловить,— шутнул Митя и потерял сознание.

13

Пока Митю лечили, Тата ездила к нему чуть не каждый вечер, и за эти вечера они сблизились крепче, чем за все время знакомства.

Вскоре после майских праздников Митю выписали, и в начале июня Татина мама увезла младших дочерей на дачу. Митя отправился к Тате помогать убирать пустую квартиру.

Он уже бывал здесь. Каждая комната имела свое назначение: кабинет, столовая, спальня, детская. В детской все еще хранилась большущая Татина кукла Алиса, а среди игрушек сидел живой сибирский кот.

До уборки дело не дошло. Тата поставила чайник и кинулась целоваться. Чайник выкипел. Было поздно. Митя остался ночевать.

Время полетело. Разделенные днем, они соединялись бессонными ночами. Часы в столовой не успевали отбивать время. Митя удивленно слушал: один удар, минут через пять — два удара, еще через пять — три удара, а там и рассвет...

Первой попыталась образумиться Тата. Семнадцатого июня она кое-как привела в порядок постели и велела Мите отправляться в Лось. Мама могла явиться с дачи с

минуты на минуту: девятнадцатого — исторический день, встреча челюскинцев.

Они попили чай, вышли в коридор, беззвучно обнялись у выхода (рядом жила старушка меньшевичка) и вернулись. И Митя снова остался.

Среди ночи он проснулся на полу, на мягкой полости белого медведя. Под боком бесшумно дышала Тата. Тяжелая штора чуть шевелилась, открывала и закрывала желтеющее утро. Вдали на полу валялся бант, которым Тата затягивала на ночь волосы. Часы пробили четыре. С улицы доносился мерный могучий храп. Дома Митя давно бы встал да поглядел, что за чудовище пожаловало на московскую улицу, а здесь, когда на руке доверчивая Татина головка, ни до чего ему не было дела.

«Татка! Люблю!» — не произнес, а только подумал он. Она приоткрыла глаза, слабо улыбнулась.

— И я.

— Милая! Птица моя!

— А я видела сон,— проговорила она с хрипотцой,— будто мы куда-то с тобой уехали, далеко, где нет никого. Какие-то необитаемые скалы, и мы на медвежьей шкуре. Вдруг является папа и начинает страшно ругаться. А мама ему говорит: «Не сердись. Видеть во сне рыжих — к счастью». Смешно, правда?

— Смешно-то смешно,— сказал Митя,— а приедет по правде, не больно смешно будет.— Он обнял ее крепко, поцеловал.— Испугалась? Не бойся. Объявим, что мы муж и жена. Пусть поздравляют.

Тата промолчала. Молчание ее Мите не понравилось.

— Боишься? — спросил он.

— А ты не боишься?

— Я ничего не боюсь. Даже тебя. Васька чуть не укокошила, я и то...— Он прикусил язык.

После встречи с Васькой в лечебнице Тата не раз выпытывала подробности. Он, как умел, увиливал. Она не настаивала, но обижалась. На этот раз он проговорился, и пришлось рассказать все.

— Какие изверги! — Она прижала его рыжую голову к крепкой, как арабский мячик, груди.— Какие звери! Да ее удавить мало! Сегодня же иди к начальству.

— Зачем?

— Как это зачем? Ставь в известность.

— А если ее расстреляют? Ну не расстреляют, дадут десятку. Кому польза?

— Так ей и надо. Это же бандитизм, уголовщина! Покушение на убийство!

— Так ведь не убила.

— Сегодня не убила — завтра убьет. В ней же классовая месть говорит. Я тебя просто не понимаю.

— Послушай, Тата, внимательно,— терпеливо начал Митя.— Васька, если не считать, конечно, Круглова, самый надежный человек в бригаде. Когда меня нет, она остается за бригадира, и все ребята ее признают и слушаются. Работает она за двоих, за троих и понимает буквально все: и марки цемента, и сортаменты, и взрывчатку, и пергамин. Где она приложила руки, можно не проверять. Сколько ни работала, ни разу не сфальшивила.

— А социальное происхождение?

— Перейдем к социальному происхождению. В политике она круглый нуль, ничего не соображает, не знает ни правых, ни левых. Главное в ней — жадность на работу. Дома, говорит, когда тятенька понукал, тяжельше было. Здесь ей легче и лучше, чем было дома, понимаешь? Зла на раскулачивание она не держит.

— Зла не держит, а голову проломила.

— Это особый разговор. И я рассуждаю так: в гражданскую войну Советская власть использовала царских офицеров, чтобы направить их знание и умение на пользу пролетариату, а чтобы не вредили, к ним были приставлены красные политруки...

— Значит, ты при Ваське политрук? — Тата усмехнулась.— Просто умора. В выходной Гоше расскажу.

— А по сопатке не хочешь?

— Что ты сказал?

— Оглохла? По сопатке, говорю, не хочешь?

Она поднялась, нависла над ним. Лицо у нее было насмешливое и брезгливое.

— Ты пойми,— попытался вразумить ее Митя.— Сколько ей надо было перемучиться, чтобы пойти на такое дело? Она добрая, как телуха... Ну, усадим ее в тюрягу, ну,

недосчитаем сотни метров тоннеля... Ну и что? Кому польза?

Тата не стала спорить. Она надела халатик, ушла в спальню и заперлась на ключ. Митя прислушался. На тихой улице, как и час назад, похрапывал неведомый зверь. «Если догадаюсь, что это такое,— загадал Митя,— значит, прав я. Если не догадаюсь — права Татка». В полудреме ему представилось что-то вроде зеленого змия, которым пугают алкоголиков. Вдоль хребта и по длинному, сплющенному с боков хвосту пилой торчали наросты болотно-зеленого панциря. В круглых, выступающих биноклем ноздрях росли волосы. Шлангом протянув длинную шею вдоль мостовой, чудище мерно храпело. И волосы то втягивались в ноздри, то выдувались... Митя окончательно проснулся, пошарил рукой и отправился к Тате. Рванул дверь, выдернул крючок. Она спала в халатике, носом к стенке. Он прилег к ней, стал тихонечно расстегивать мелкие крючки халата. Верхние подались легко, нижние трудно было нащупать. Не просыпаясь, Тата вытянула ноги, стали отстегиваться и нижние. Он бережно вынул ее из халатика, поднял на руки. Она была легкая, как гитара. Он понес ее в прохладный кабинет, нежно положил на медвежью полость. Она пробормотала не просыпаясь:

— Никогда, никогда не говори со мной так. Никогда! Ну, подожди... Милый, милый...

В кабинет важно вошел сибирский кот и остолбенело уставился на Митю. Тата открыла глаза.

— Ну чего же ты? Ну?

Митя скопфузился, прошипел «брысь!». Кот нагло смотрел.

— Что с тобой? — удивилась Тата.

Митя нащупал туфлю, прицелился. Тата мягко придавила его.

— Успокойся, рыжий, ну, успокойся. А меня прости... Это правда, что любовь делает человека лучше. Только с тобой я стала понимать это.

— Дело не во мне,— возразил Митя, проклиная кота.— Дело в практике.

— Не хулигань! Послушай, что я скажу. Ведь ты не

меня любишь. Вернее, меня, но не такую, какая я на самом деле. Не торговку почтовыми марками. Ты меня сочинил, и это сочинение свое, мимолетное видение, любишь... Не спорь, это во всех стихах описано. И интересно вот что: я почему-то точно знаю, какой ты меня воображаешь. Даже внешний вид. И против воли тянусь, стараюсь хоть немного походить на твое мимолетное видение. Знаю, не дотянусь, а тянусь, стараюсь. И результаты налицо. Гоша отметил, что у меня глаза стали красивее. При тебе я вроде шекспировской Джульетты — умнею от любви. Вероятно, женщине важно не то, как ее любят, а то, какой ее воображают. И потому... Ну подожди же... Подожди... Нет, разговаривать с тобой лежа совершенно невозможно.

В коридоре прозвенел звонок.

— Телефон? — спросил Митя.

— Нет. Кто-то пришел.

— Мама?

— Четыре утра, что ты! Одевайся! Не зажигай свет!

Позвонили еще раз, длинно. Жилица пошла отворять. Митина одежда была раскидана по двум комнатам — и в спальне, и в кабинете — и перепутана с Татиной. Без света разобраться было трудно.

Стеклянная фрамуга осветилась. Послышались голоса.

— Отец? — спросил Митя, застыв с брюками, как журавль, на одной ноге.

— Я тебе тысячу раз говорила, отец приезжает специальным поездом.

Вошедшие топали так, что казалось, их человек двадцать. Они подошли к Татиной двери, стали советоваться. Раздался вежливый стук.

— Пойди в детскую, спрячься,— прошептала Тата.

— Зачем?

— Спрячься.

Митя обиделся, но пошел.

— Тама, тама,— сказал незнакомый голос.— Вот тебе и тама. Нету никого.

— Господи, как я испугалась! — причитала жилица.— Думала, опять что-нибудь ужасное. Стучите сильней. Она дома. Она спит как каменная.

«Вот язва,— подумал Митя,— жиличка-меньшевичка».

Тата впустила незваных гостей в столовую. Стало шумно. Говорили вместе, уронили стул, извинялись. Среди женских голосов Митя различил виолончельный голос Чугуевой.

— Или не признала? — спрашивала она.— Вспомни больницу, то, как я выла возле него. Хренку ему еще приносила. Ну? Ноне нас по тревоге подняли. За три вокзала кудай-то бросают. На аврал. А комсорга нету нигде.

— Странно,— возразила Тата несмело.— А я тут при чем?

— Всю Лось переворотили, нету,— продолжала Чугуева.— Едем, а я и думаю, попадет ему теперича. Начальник-то новый, не Лобода! Покруче! Едем, едем, да мой писатель-то, вот они, мне и припомнились...

— А тут ни сном, ни духом,— затараторил Гоша.— Стучат кулаками, кричат: «Метрострой!» Велят показать твою квартиру.

— А ты не серчай,— говорила Чугуева Тате.— Мы без его хотели управиться. Понадеялись на свои дурные головы. Ни спецовки не взяли, ни инструмента. А у них аврал, на котловане-то. Такая суматоха, не до нас, в общем. Бригаду я, конечно, сгрузила и давай назад на дистанционном «газике», в сорок первую, за сапогами да за инструментом... Едем-едем, да вот писатель мне и припомнились...

— Да в чем дело? — раздраженно спросила Тата.

— В том и дело,— сказала Чугуева.— Комсорга ищем.

— Облава на рыжих, короче говоря,— пояснил Круглов.

— Да я-то при чем? — повторила Тата уверенней.

— Как же при чем? — Чугуева дружелюбно толкнула ее в плечо.— Ты с ним ходишь?

— Вы что, с ума сошли? — Тата искренне возмутилась.— Поднимать среди ночи людей!..

— Значит, его нет у вас? — поставил вопрос ребром шофер.

— Конечно, нет. Как вам не стыдно?

— Здеся! — громко прогудела Чугуева.

— Да вы что, в самом деле! — Тата стукнула каблучком.

— Не шуми. Здеся. Вон евонная рулетка на полу.

— Ну и что? — Тата не терялась.— Рулетку он подарил мне на день рождения.

Чугуева сразу поверила.

— Ах, горе-то горькое, куда же он сам подевался?

Митя не вытерпел, поглядел в щелку. Тата сидела, оскорбленно отвернувшись к окну. Пришедшие стояли возле нее полукругом. «Вот он где, Художественный театр»,— подумал Митя.

— Я пошла, Таточка.— Жиличка вздохнула.— А вы непременно накиньте крючок. Непременно.

— Ну вот,— рассердился шофер.— А молотит: здеся да здеся. Бензин задарма жгем.

— Ах, горе горькое,— сокрушалась Чугуева.— Так ведь он с тобой ходит?

— Чего такого? — подытожил Круглов.— С одной ходит, а с другой спит. Разделение труда. Пошли.

Все стихло. Часы в столовой отщелкивали секунды. Тата победно распахнула дверь.

— Досыпай! Все в порядке!

Он посмотрел на белеющее в сумерках тело.

— Какое там досыпать,— грустно проговорил он.— Я знаю этот котлован. Надо ехать.

— С ними?

— Не бойся.

На улице с третьего раза завелся «газик». Машина развернулась. Шум ее стал удаляться.

Как ни благоразумен был обман Таты, в нем обнаружилось что-то, что она тщательно скрывала от Мити, а может быть, и от себя.

— Холодно,— она накинула халатик.— Значит, уходишь?

— Ухожу.

— Не забудь рулетку.

— Не забуду.

— Поцелуй хоть.

Она сдула с лица волосы, подняла к нему виноватые глаза. Он принудил себя поцеловать ее в губы.

С площадки было слышно, как Тата запирала дверь на

крюк. Хладнокровно-деловые железные звуки неприятно отозвались в его душе.

Он вышел на улицу. Дворничиха в белом фартуке мела тротуар. Поскребывание новой метлы по асфальту походило на могучий храп. Действительность, как всегда оказалась смешнее и убедительнее сонных фантазий.

«Джульетта,— усмехнулся Митя.— Надо же! Джульетта!» — И посмотрел в обе стороны. Трамваи еще не ходили. Улица была бесконечно пустынная. Первые утренние лучи скользили по мостовой, булыжники торчали выпукло, как черепа. Поежившись от холода, он зашагал к трем вокзалам, и смутная печаль, не отставая двигалась рядом длинной черной тенью.

14

Шофер боялся заснуть за рулем и велел Чугуевой разговаривать. А ей было не до разговоров. С тяжким сердцем ехала она на котлован. Спецовки для бригады пришлось вырывать с боем. И не обломилось бы ей ничего, если бы не наврала, что машину прислал лично комсорг Платонов. И по ее милости Платонову придется отчитываться за каждую пуговицу.

Выйдя из больницы, Митя вел себя так, будто признание Чугуевой забыл начисто. Одна оставалась у нее отрада — хоть немного загладить свой незамолимый грех трудом, хоть чем-нибудь угодить Мите. Ей не везло. Ну какой бес дернул ее среди ночи врываться в Таткину квартиру? И Митю опубликовала, и девчонку под вопрос поставила. Очень распрекрасно.

Утро было ненадежное, серое. Раннее солнышко поблескивало на татарском шатре Казанского вокзала, а за кокошником Ярославского небрежно репетировал гром. Дежурная с железной занозой у трамвайной стрелки распустила брезентовый зонт.

Бригада встретила Чугуеву криками «ура!», вмиг расхватала спецовки. На дне котлована ждал заросший седоватой бородой сменный инженер Гусаров.

Здороваясь с ним, Чугуева сошла с дощатого хода

наземь и будто ступила на живую крысу, неглубоко закопанную. Крыса дышала под подошвой, норовила повернуться.

«Плывун, зараза»,— поняла Чугуева. А инженер уже ставил задачу: немедленно чинить опалубку, срочно крепить котлован бетонной стенкой. К бетону приступать нельзя, поскольку опалубка рассохлась, щели в палец.

Постановку задачи пришлось прервать. Беременная комсомолка в железнодорожной форме принесла инженеру завтрак.

— А зонтик зачем, Гусарова? — спросил инженер.

— Гроза идет, Гусаров.

— Это кто же тебе доложил?

— Ванька-мокрый слезой пошел.

— Это кто же такой Ванька-мокрый? Профессор Шмидт? А? Не слыхать,— он дурашливо отогнул ухо ладошкой.

— Все ты позабыл, Гусаров. Адрес не позабыл? Домой зайдешь когда-нибудь?

— Ванька-мокрый? Суеверием занимаешься, Гусарова. Наука дождей не объявляла.

— Жуй быстрее. Опаздываю.

— Как Люсик?

— Легше. Горлышко чистое. Хоть бы белье пришел сменить.

— Ступай. А зонтик напрасно таскаешь. Наука дождей не объявляла.

Постепенно стало понятно, что Гусарову не больше тридцати пяти от роду. И еще поняла Чугуева, что он смертельно страшится дождя.

— Теперь техника безопасности,— продолжал инженер, дожевывая французскую булку.— За провода не хвататься. На изоляцию не надеяться. Возле зумпфа земля замыкает. Кувалды проверить, чтобы с черенков не соскакивали. Висишь с топором, смотри, чтобы внизу не ползали. Вопросы есть? А? Не слыхать...

«Не-е...— подумала Чугуева.— У нас, на сорок первой бис, гостей не так привечают...»

Она не обижалась, просто засекала факт. Легче всего судить о положении дел на стройке по внешнему виду

начальства. А здесь и без начальства было ясно, что огромный котлован держится на честном слове. Распорные стенки дышали. Не только ливня, а доброго грома хватит, чтобы они обрушились. Балки и подкосы ставились без ума, под диктовку страха. Где затрещит, туда и тыкали. К подпоркам были подвешены телефонные кабели, бетонные трубы водопровода, угрожающие при малейшей оплошности потопом, смертоносные подземные кабели высокого напряжения. Сквозь обмазку гончарных труб сочилась жижа и несло нужником.

А на самой кромке, над пятнадцатиметровым обрывом котлована, стоял трехэтажный полукирпичный, полубревенчатый домик, украшенный жестяным орденом страхового общества «Саламандра». Фундамент, весьма скверно уложенный, цинготно обнажался, бутовый камень при малейшем движении рикошетил вниз по швеллерам и подмостям. Жилищное товарищество запретило в доме танцы. Но люди жили. На окне второго этажа висела клетка со щеглом.

«Хоть бы птичку выпустили»,— подумала Чугуева, не без опаски спускаясь вниз, в чащобу швеллеров, бревен, проводов и шлангов. Первый, на кого она наткнулась, был паренек в спецовке с закатанными рукавами и в сапогах с загнутыми голенищами, румяный, хорошенький, как конфетный фантик. Паренек грузил щебень совковой лопатой. Руки его были затянуты в лайковые перчатки, в женские лайковые перчатки цвета топленого масла.

— Гляди, обновку порвешь! — улыбнулась Чугуева.

— Ничего! — Он охотно откликнулся: — Брезент натирает мозоли. А эти рассчитаны на один бал.— Он напрягся, зачерпнул три-четыре камушка.— У нас таких перчаток — полная картонка.

Чугуева подала ему вилы. Он поглядел недоверчиво. Его здесь часто разыгрывали.

— Не бойся,— подбодрила она.— Спробуй.

Он впился в черенок маленькими, как у мартышки, ручонками и подцепил столько, что едва поднял.

— Чудесно! — обрадовался он.— Мерси! Благодарю вас!

Трудился он на опасном месте. Как раз над ним нависал дом с оголенным фундаментом.

— Кто тебя сюда определил? — спросила Чугуева.

— Видите ли, во втуз принимают только с трудовым стажем,— ответил он дружелюбно.— Какой из меня выйдет инженер, если я не знаю, что щебень удобней грузить вилами.

— Я не про то. Кто тебя поставил на это место?

— Десятник. Никто почему-то не желает здесь работать. Боятся, что дом на них упадет, чудаки.

— А ты не боишься?

Он что-то ответил, но она не расслышала. Ее окликнул Митя.

— Батюшки! — обрадовалась она.— А я тебя заискалась!

— Кого не надо, ищешь, а кого надо, нет.— Митя сощурился.— Где Осип?

— Кто его знает. Сейчас тут был.

— Найди его. Пусть квач намотает и доски смазывает. Погоним опалубку и бетон потоком. Покажем темпы.

Работа закипела. Незаметно подошел обед. Длинная очередь нарпитовской столовой говорила о погоде. Большинство склонялось к тому, что гроза пройдет стороной. А за окнами тревожно трепетали липы, и лоточник торопливо прибирал журналы, и кусок бумаги кроликом скакал по дороге. Гусаров внес предложение: паникерские настроения прекратить и разговоры о грозе считать недействительными.

Ребята с 41-бис обязаны были отработать у Гусарова до шести вечера. А около четырех моргнула молния и вдоль неба щеголевато щелканул гром.

— Хочешь, верь, хочешь, не верь, а грозы не миновать,— шепнула Мите Чугуева.

Он не очень поверил, а все-таки отправился разведать, куда отводить водяные потоки. У настила, под которым отмерили участок ребятам 41-бис, было самое низкое место. К этому «блюдечку» круто сбегали боковые улицы — Верхняя и Нижняя.

Чугуева была права. Гроза надвигалась. Над столовой хлопал кумачовый лозунг. Со стороны вокзалов медленно

и низко, как бомбовозы на параде, ползли черно-лиловые тучи. Митя заспешил обратно.

В котловане было сумрачно. Работали только насосы. Метростроевцы, местные и приезжие с 41-бис, сгрудились под настилом.

— Завод имени товарища Петровского,— бормотал Гусаров,— обязался выдать двести пятьдесят тонн проката, паровозостроители — два трактора сверх плана... Композитор Василенко создает симфоническую поэму на тему челюскинской эпопеи, художник Бродский готовится отразить подвиг на полотне. Писатель Федин глубоко взволнован...

— Что это? — спросил Митя Чугуеву.

— Беседа,— отвечала она.— Начальник приезжал. Шумел, что слаба политическая заправка. Собери, говорит, людей. Кузькину мать поминал. Николай Николаевич никогда бы этого не позволил.

Говорят, существуют люди, которые могут спать стоя, есть такие, что научились спать на ходу. Инженера Гусарова эти достижения ничуть бы не удивили. Он ухитрялся спать, разговаривая и даже читая вслух. Этим он и развлекал рабочих. А по настилу застучало сперва украдкой, потом уверенней и нахальней. Гусаров прислушался и продолжал:

— А наша почетная задача — встретить героев успехами в вопросе опалубки и в вопросе бетона...

— В вопросе бетона ничего не выйдет,— сказала Чугуева тихо.

— Кто базарит? — вяло спросил Гусаров.— А? Не слыхать.

— Я базарю,— откликнулась она.— В дождь бетонить не стану.

Гусаров замолчал. Всем показалось, что инженер заснул окончательно.

— Вот, полюбуйтесь, товарищи,— наконец проговорил он,— вся страна приветствует челюскинцев встречными обязательствами, а она базарит.

— Челюскинцев спасли, чего их поминать,— возразила Чугуева.— Котлован спасать надо. Тебя же завалит, хоть ты инженер. А у тебя баба с пузом.

Гусаров посмотрел на спорщицу клюквенно-красными от хронического недосыпа глазами.

— Это чья? — спросил он.

— Моя,— ответил Митя.

«Опять Митьку подвела»,— вздохнула Чугуева.

— Она дело говорит,— продолжал Митя.— Гроза идет, а вы обедни читаете. Какой может быть бетон, когда у вас опалубка рассохлась.

— Рассохлась?— Гусаров шутовски развел руками.— Да что вы?! Первый раз слышу!

Ах, как захотелось ему рассказать, почему рассохлась опалубка.

Он рассказал бы, что копать котлован начали еще год назад и работали по всем правилам: оградили площадку, выселили жильцов из трехэтажного дома, повесили доску показателей и ежедневно давали 120—130 процентов нормы. Его, Гусарова, за отличную организацию работ отметили Почетной грамотой и премией. Работы продолжались. На глубине пяти метров врезались в плывун, и с этого момента начались неожиданности. Не помогали ни водопонижение, ни замораживание, ни двойной шпунт. Песчаный кисель лез через все щели. Выработка снизилась катастрофически — до 20 процентов. Ему, Гусарову, влепили строгий выговор за развал работ и понизили в должности. А высшие руководители взялись за то, за что берутся любые руководители в щекотливых ситуациях: сели заседать. Заседали они без малого полгода, и, пока спорили, проводили консультации с немецкими, американскими и датскими специалистами, выискивали пораженцев и саботажников, ограждение котлована завалилось, а жильцы трехэтажного дома самовольно вернулись в свои покинутые квартиры. Выселять их второй раз Гусаров не решился, чтобы не прослыть маловером. Подошел январь. И оказалось, что крутые рождественские холода, как это не раз случалось, пособили больше, чем консультанты и политбеседы. Комсомольцы-молотобойцы продолбили крепчайший, как скала, грунт кирками, ломами, кайлами, клиньями и пробились до нижней отметки. Выходы плывуна были прижаты булыжной отсыпкой и подпорными стенками, опалубка и тепляки были возведены досрочно.

Гусарову дали путевку на курорт и назначили начальником дистанции. Оставалось «зафиксировать» котлован, соорудить внутри его надежный железобетонный ящик и ехать в Сочи.

Бригады были нацелены на круглосуточную работу. Бетонирование должно быть окончено безоговорочно, пока не пришло лето и не размок грунт.

— Иначе,— предупреждали агитаторы,— оживет плывун и котлован превратится в братскую могилу.

Бригады поняли важность задачи, взяли повышенные обязательства, укрепили партийное ядро, установили бетоньерки, заплели арматуру, возвели опалубку.

И все бы кончилось благополучно, если бы был цемент. А цемента не было. Почему-то весной 1934 года на Метрострое цемента не оказалось.

На слезные просьбы Гусарова метроснаб отвечал:

— На складах ни одного килограмма.

А высшие руководители советовали:

— Выпутывайтесь как-нибудь.

Как-то бессонной ночью Гусаров вспомнил, что Первый Прораб обещал ему: «Все дадим, что попросите. Меда надо — меда дадим!» И рано утром через головы многоэтажного начальства, на свой страх и риск, он добрался до засекреченного телефона. Энергичный баритон дал конкретный ответ:

— Цемента у нас нет. Мы вас обеспечили прекрасным человеческим материалом. Потрудитесь руководить так, чтобы работы шли возрастающим темпом. Мы вам доверяем.

А солнышко грело, опалубка рассыхалась, плывун ломал переборки, изможденные насосы выходили из строя.

Вконец издерганный Гусаров бросился в Моссовет и предложил одну из своих двух комнат в обмен на вагон цемента. Одичавшего прораба пожурили за паникерство, комнату, конечно, не взяли, но и цемента не дали. А в случае срыва плана вежливо пообещали оргвыводы.

Лето шло, а котлован каким-то чудом стоял, хотя и вел себя мистически. На днях, например, после небольшого грибного дождичка геодезисты обнаружили, что все его 100 метров длины, 30 метров ширины и 15 глубины, сло-

вом, весь котлован целиком аккуратно сдвинулся на шесть сантиметров в сторону от оси трассы, сдвинулся вместе со сваями, лебедками и паровыми котлами, с доской показателей и со сменным инженером Гусаровым.

Наконец в июне месяце из города Вольска прибыл поезд с цементом. Поступило срочное распоряжение: вести бетонные работы широким фронтом. Распоряжение было правильное, но невыполнимое: за месяцы бесплодного ожидания специалисты-бетонщики разбрелись, а опалубка пришла в полную негодность. Поэтому и вызвали бригаду Мити Платонова, известную по всему радиусу под названием «беда и выручка».

Все это промелькнуло в мыслях Гусарова за одну секунду, но он ничего не сказал. Спросил только Чугуеву: а все-таки, как ваша фамилия?

Ответить она не успела. Несколько голосов одновременно закричали, что садится бровка, и Гусаров взлетел наверх.

Несчастье случилось неподалеку от настила, с той стороны, где висел над котлованом застрахованный в «Саламандре» от всех невзгод старомодный домик.

Отягченный водой грунт прорвался на волю.

Отвесные кручи котлована охранялись от обвала заборными досками. Толстые доски, привезенные специальными эшелонами из архангельских лесов, уложенные ребро к ребру одна на другую и прижатые снаружи стальными сваями, выглядели внушительно. Сваи были забиты часто, а все-таки горное давление брало верх. Упоры гнулись дюймовые болты срезались в стальных косынках.

Разбуженные дождем подземные силы пришли в движение, доска примерно на середине высоты котлована треснула, и серая жижа сотнями змей поползла вниз.

— Ну, Васька,— сказал Митя,— теперь нам тут до утра карасей ловить. Пошли к начальству.

Гусаров стоял под дождем и пытался что-то записывать. В размытую брешь ребята таскали мешки с песком. А ливень набирал силу. Дальняя сторона опустевшей улицы едва виднелась за белесым водяным дымом. Минуты через три с небес полилось что-то сплошное, свистящее, белое, словно разбавленное молоко. На остановке встал

переполненный трамвай. Ни один пассажир не вышел. Высовывались — и обратно. Простояв около минуты, трамвай двинулся дальше. Вокруг инженера, накрывшись пиджаками и куртками, словно всадники без головы, гарцевали техники и десятники.

Шел торопливый спор. Гусаров предлагал извлечь сломанную доску, а остальные, верхние, осаживать по очереди. Ему возражали.

Митя вызвался спуститься сверху в ушковой бадье, как маляр в люльке, и, не теряя времени, поставить новую доску. По его наметкам, на всю операцию уйдет не больше часа. Единственно, что надо сделать, передвинуть кран-укосину так, чтобы он находился над аварийным местом.

Пока начальство совещалось, он собрал верных помощников, и под бурные аплодисменты ливня ребята начали перетаскивать укосину.

Чугуева кинулась за инструментом. Она разыскала Осипа в техничке у слесарей, шумнула ему:

— Вставай, подымайся! Отметь двухдюймовку на два двадцать. Платонов приказал!

— А доска где? — прогундосил Осип. Он показывал фокус: засовывал спичку в нос и вынимал изо рта.

— Любой мосток пили. Время не терпит.

— А пила где?

— Вот она, ножовка.

— Ножовкой не возьмешь. Пилу надо. Лес сырой.

— Я привезла пилу. Где она?

— Утопла.

Чугуева выволокла своего постылого ухажера на волю, раскрутила на два оборота и выпустила. Он перекувырнулся через насосную кишку и плюхнулся в грязь. Пока он очумело хлопал глазами и, растопырившись, ждал, пока с него сцедится вода, пока хромал, выискивая в лужах лохматую кепку, Чугуева отмерила тесину и побежала наверх.

Там все было готово.

Митя велел Круглову направлять укосину, Чугуеву поставил к лебедке, а сам залез в бадью и закачался над головокружительной пропастью котлована. Как только он опустился до места, обнаружились неполадки, неизбежные в любом торопливо снаряженном деле. Началось с того,

что грузная бадья ни с того ни с сего пожелала вальсировать. Митя кричал что есть силы, чтобы догадались, веревку спустили, зацепился бы за что-нибудь. Но в потопе его не было слышно, гремел гром, свистел белый ливень, надсадно выли центробежные насосы. Сверху кричат, учат чему-то, не разберешь. Никогда еще Митя не попадал в такое дурацкое положение: и рабочее место крутится, и вокруг все крутится каруселью, и голова кружится — ночью-то он не сны глядел. Отчаявшись, он просунул лом в ушко бадьи, дождался, пока подъехала металлическая стойка, и со второй попытки посчастливилось ему угадать концом ломика в дыру стальной косынки.

Обливаясь грунтовыми и небесными водами, он вытащил по частям разломанную доску и стал заводить за стальные ребра котлована новую. Оказалось, сантиметра два надо стесывать. А в бадье воды по колено. Пришлось нырять за топором в зеленую цементную похлебку. Темнело. Ладно еще, молния подсвечивает. Стесал, стал ставить на место. Без лома работа подавалась туго. Да и неловко. Митя махнул рукой: подай, мол, бадью вниз. Круглов лежит ничком (к краю ребята подползали, как к полынье, на брюхе), не может угадать, в чем заминка. Хорошо, Васька подошла к самому обрыву (ей все нипочем, она не ползает), потрясла в руке ломом. Митя обругал себя на чем свет стоит, плюнул даже — хорош бригадир, комсорг, ломом-то он застопорился, заперся, ровно задвижкой. Теперь его троим не вытащить.

И снова сообразила Васька. Побегла к лебедке, стала помалу майнить да вирить, и Митя постепенно, рывков за пятьдесят, выдернул лом.

Крепкую доску он заводил в темноте. Заколотил, выкидывая топор на полный взмах. Надо бы покрепче закрепить, да, пока канитель тянулась, вода в бадье поднялась по пояс, и нырять на дно за гвоздями не было охоты. Махнул рукой — поднимай! Подняли. Страшенная гроза хлестала по глазам. С Верхней улицы неслась кипящая пена, а на Нижней вода сбросила чугунный люк со смотрового колодца. На той стороне, над нарпитом, билась пустая черная лента кумача. Все буквы смыло.

Ни Гусарова, ни десятника не было.

Пока толковали, что делать, плывун снова выбил доску, и все пришлось начинать сначала. На этот раз ошибки учли, о сигналах условились, стопорный ломик добыли, в бадье пробили дыру, чтобы сливалась вода, на тросе укрепили автомобильную фару. Чугуева посоветовала прежде, чем ставить доску, забить пустоты сеном. Сена плывун боится. И, когда Митя сказал «умница», потеплела ее душа и веселее стало работать.

Деготь, фураж и прочее грабарское добро было свалено во дворе дома, застрахованного в «Саламандре». Попадали во двор кружным путем, через переулок — парадные подходы были перерезаны котлованом. А до переулка путь один — бродом по Нижней. И Чугуева пошла по кипящему потоку, цепляясь за телеграфные столбы, за стволы истерзанных ливнем деревьев, за борта грузовиков, пережидающих грозу с зажженными фарами. Раза два гроза сбивала ее с ног, один раз она чуть не угодила в смотровой люк, а все-таки дошла.

Во дворе стоял гвалт, плакали дети. Жильцы тащили из квартир чемоданы, перины, зеркала, керосинки, школьные глобусы, сундуки, штабеля Большой Советской Энциклопедии, клетку со щеглом. Гусаров пытался умерить панику словами, за которые его смело можно было штрафовать на двугривенный.

Случилось то, чего все ждали. Нижний кирпичный этаж застрахованного дома дал трещину.

Чугуева обошла суматоху стороной, сгребла копешку сена, обняла ее, стала приминать, да так и не совладала с собой, пала в колючую, таинственно шуршащую мякоть. Родной аромат сена одурманил ее. И не сеном пахла прелая копешка, а сенями родной избы, подойником, сладким чадом самоварной лучины, тепленькой от утюга мамкиной кофтой...

Она пролежала ничком целую минуту. Поднялась, туго утерла глаза, накатила увязанную вожжами копешку сперва на помойный ларь, а оттуда на спину. Протопала шагов пять — в животе дернуло. Тяжело. Не только до котлована, до ворот не донести. Перемогая боль, она пошла к сараю, уронила беремя на поленницу, убавила немного. Гроза унялась, ветер ослабел, а шагала Чугуева

трудно, как стреноженная. В кромешной тьме светилась техничка камеронщиков. До нее было метров триста. «До технички дойти бы,— ободряла она себя.— А там рукой подать». Она не раз приваливалась к ноющим телеграфным столбам, силы покидали ее, но мысль бросить сено в воду не приходила в ее крестьянскую голову. «Дойду до технички,— мечтала она.— Там ящик. Копешку на ящик — сама передохну».

Техничка — грузовой «газик» с фанерной будкой и верстаком — была ярко освещена. Ящик, о котором мечтала Чугуева, служил ступенькой. И когда глыба сена медвежьей тушей застряла в вырезе двери, ребята-слесари перетрухнули. Они не поверили, что такую ношу притащил один человек, да к тому же девчонка. При свете лампочки-переноски увидели, как тяжело всем своим грузным телом дышит Чугуева. Подивились, разделили сено на три охапки и понесли Мите.

А Чугуева дышала, открывши рот, как рыба, собиралась встать, да сил не было.

Ее окликнули.

В машине, в фанерной будке слесарей, пригрелись еще двое, Осип и парнишка, мечтавший о втузе.

— Эх ты, зенки бесстыжие,— попрекнула она.— Ребята вкалывают, а он копчик греет.

— А кто меня из строя вывел? — Осип усмехнулся половиной губы.— Ты мне травму нанесла, ты за меня и отрабатывай.

— Погоди! Увидит Митька!

— Не найдет.

— Я скажу. Он тебя перелопатит.

— Скажи. Мы ему тоже кой-чего скажем.

Он сунул руку за ворот брезентовой спецовки и из внутреннего кармана тельняшки, который сама Чугуева пришивала ему, вытянул склеенный из газеты конверт.

К письмам Чугуева привыкла. Как только появился Гошин очерк, ей писали со всех сторон. Красноармейцы, студенты, моряки и кубанские казаки объяснялись в любви, девчата допытывались, что такое счастье. Одно письмо пришло на английском языке из города Вашингтона. Письма валялись сперва в управлении на Ильинке,

потом в конторе 41-бис под ненадежным надзором секретарши Нади. Поначалу Чугуева читала их, потом и брать не стала.

Это письмо было особое. Только отец, и больше никто, умел клеить из газеты такие квадратные конверты, только отец, и больше никто, писал «о» так же, как произносил, колесиком.

— Отдай, а? — прогудела она жалобно.

— Митьке скажешь?

— Не скажу. Отдай.

Он сунул конверт под тельняшку.

— Ишь ты какая быстрая! Травму нанесла, а я ейные письма доставляй.

— Отдай! — гудела Чугуева жалобно.— Я тебе что хошь...

— А что с тебя взять? Чего у тебя осталось? — Он обернулся к парнишке.— Думает, мне ее интерес нужен... Не нужон мне от тебя никакой интерес, и сама ты мне не нужна, сучка. Письмо я тебе, конечно, отдам, поскольку его никто не купит. Только прежде исполни номер...

— Какой?

— Обыкновенно какой. Письмо пришло, пляши. По закону бы за все твои письма тебе полные сутки плясать надо. А я ладно. Полчаса хватит.

— Да ты что!

— Как хошь...— Он застегнулся на все пуговицы.

— Ладно, ладно! — Она полезла в техничку.

— Э-э, нет! На настиле мы и без писем спляшем. На воле давай!

— Тут склизко... И дождь.

— Как хошь.

Чугуева уперлась одной рукой в бок, другую изогнула над головой дужкой, принялась переступать тяжелыми метроходами и поворачиваться. Тяжело ей было до слез. Глина приваривала к земле подошвы, ноги вынимались из сапог. Повернулась разок и поняла, до какой степени устала. Колени дрожали. Повернулась еще через силу, упала в грязь. Проговорила, не поднимаясь:

— Не могу боле. Ноги не стоят, отдай.

— Не-е, халтура. Какой это пляс! Давай «Курку»! Дело лучше пойдет.

— Ей-богу, не могу... лучше я тебе пайку отдам.

— Как хошь.

Она собрала последние силы, принялась топтаться на месте, заголосила по-старушечьи:

Эх, курка бычка родила,
Поросеночек яичко снес...

Поскользнулась, снова плюхнулась в грязь и услышала, как взвизгнул парнишка:

— Вы не смеете! Я Гусарову доложу!

Она увидела маленькие кулачки, сказала обреченно:

— Шел бы ты отсюда, пацан. Нечего тебе тут глядеть... Наглядишься еще!

— Это издевательство! — Парнишка ломал пальцы.— Это же... Это же, в конце концов, не по-комсомольски!

— Кому касается! — протянул Осип ржавым голосом.— Сматывайся отсюдова!

Послышались быстрые голоса. Чумазый, как черт, слесарь влетел в техничку.

— Кепка! — завопил он.— Подай домкрат! Укосину завалило!

Все-таки не зря дали Гусарову высшее образование, не зря читали ему лекции про угол естественного откоса. Он знал, что кран-укосина без надежной опоры долго не выдержит. Поэтому и не дал разрешения ставить подъемный механизм на проседающей бровке. Но и не запретил, поскольку не желал лишний раз прослыть маловером.

Укосина стала накреняться, когда Митя запихивал в промоину последние пучки сена. Работа подавалась быстро. Он был увлечен и не замечал ни новой грозы, ни грохотавшего грома, ни того, что бадья стала валиться на борт. Только потухшая фара образумила его. Он понял, что трос сорвало с блока. Если бы не стопорный ломик, загремела бы бадья на дно, а вместе с бадьей и он бы загремел. Да и загремит скоро. Ломик не долго выдержит.

Первым сориентировался Круглов. Он осторожно выбрал на лебедку трос. Непосильная часть веса была снята с ломика. Что делать дальше, никто не знал. Митя висел в бездонной ночной темноте. Под ливнем метались электрические лампочки. Подъехали пожарники, умножая тревогу колоколами и сиренами. Сколько ни звони, аварийную лестницу не подвести ни снизу, ни сверху.

Митя заставил себя загонять на место последнюю доску заборки — работа глушила страх. Метрах в двух под ним тянулся швеллер, один из сотни швеллеров, распирающих стальные сваи. Спрыгнуть бы на него и попытаться дойти до стремянки. Швеллер был двадцать четвертый номер, горизонтальная полка двенадцать сантиметров шириной. На земле Митя не только прошел бы, а пробежал по такой полке с закрытыми глазами. Мальчишкой по рельсу бегал, не срывался. А вот когда швеллер не на земле, а на высоте, другое дело. Если точно не угадаешь или угадаешь, да не удержишь баланса, придется лететь с трехэтажной высоты без пересадки до самого донышка.

Хорошо бы перед началом работы настлать две-три доски, одним концом на швеллер, другим на обвязку. Тогда бы можно было спокойно прыгать...

Взорвался гром. И в небе, и в самом котловане сверкнула зеленая молния. И в это мгновение Митя увидел парящего в воздухе человека.

Ему не почудилось. Человек, конечно, не висел в воздухе, а шел по швеллеру. Это была Чугуева. Под мышкой она несла доску. Как только слесарь крикнул про укосину, она бросилась в котлован. Еще в пути она придумала то же, о чем только что думал Митя: выбрала двухдюймовку понадежнее и пошла. От усталости она не чуяла высоты и шла вроде бы в забытьи. За спиной в суматохе ливня мерещились ей призрачные голоса — то голос матери, то брата, то еще чей-то умоляющий: «Пожалуйста, побыстрей... Побыстрей, пожалуйста...»

Идти по швеллеру надо было метров шесть. Когда она прошла половину пути, погас свет. Кто-то вскрикнул дурным криком, и света в котловане не стало. И застыла Чугуева, как столпник над черной бездной. Стоять на высоте оказалось во сто крат трудней, чем двигаться. По

спине и по бокам наотмашь хлестал ливень, выдергивал из рук распухшую от воды доску.

— Монтера! — закричала Чугуева.

И внизу закричали:

— Монтера! Монтера!

Дожидаться света было нестерпимо. Чугуева стала тихонечко скользить подошвой: одна нога вперед сантиметра на три, другая вперед сантиметра на два. Двигалась, двигалась, а конца не было. И ей вдруг подумалось, что рисковый переход этот, и мука ожидания конца, и мука оттяжки его до смешного напоминают ее нелепую, страшную жизнь.

— Ты далеко хоть? — спросила она, не надеясь на ответ.

— Ку-ку! — раздалось над головой совсем рядом.— Не спеши, Васька!

Свет наладили. Чугуева стояла у самой дощатой заборки. Митя выглядывал из бадьи, как мокрый скворец из гнездышка. Рыжие лохмы его можно было тронуть доской. Чугуева подмостилась и пригрозила, как мать несмышленышу:

— Сиди, не рыпайся. Сейчас мост настелю.

А перед ней уже качалась в воздухе еще одна двухдюймовка. Это Круглов догадался, стал спускать материал на веревке. Чугуева испытала настил своим весом, сказала:

— Хоть пляши.— И разрешила прыгать.

А внизу кучками собирались люди. За Чугуевой, оказывается, кинулся паренек, пробежал сгоряча два метра, а на третьем сорвался. Это он и молил: «Побыстрее, пожалуйста». И свет потух оттого, что он, падая, порвал провода. Ударился так, что один сапог нашли в трех метрах от него, другой — в пяти.

А очки не разбились.

В нем еще сбереглось несколько минут жизни. Когда его укладывали на носилки, он прошептал:

— Мерси...

Вынесли его из котлована поспешно, не дожидаясь ни врачей, ни «скорой помощи». Гибель в котловане была бы чрезвычайным происшествием. И пункт соревнования не выполнили бы. А наверху Метрострой ни при чем.

Часам к шести утра подошла смена: отоспавшиеся бригадиры дистанции и мобилизованные управленцы. Отработавшие ребята толпами бродили по улице, стреляли у прохожих сухую папироску. Гусаров бормотал: «...за провода не хвататься... на изоляцию не надеяться... кувалды проверить...» А бухгалтеры и техотдельцы растерянно поглядывали на мокрую кучу. Куча эта, сданная Митей под расписку, представляла собой двадцать один комплект брезентовой спецовки.

Гроза кончилась, но под настилом еще капало. Из окон треснувшего дома звучал бодрый голос диктора: «Колхозники колхоза имени Шевченко хотят послушать вальс Штрауса «Сказки венского леса». На втором этаже качался щегол в клетке. Пробившись сквозь тучи, в Каланчевскую площадь косо вонзился библейский солнечный луч.

Чугуева соскребла лопатой глину с сапог, вымыла голенища и пошла выискивать сухое местечко — приткнуться поспать.

15

Будто в бок толкнули Чугуеву. Она вздрогнула и проснулась с тревожным чувством опоздания. Сенная подстилка дурно пахла. Косари махали где попало, нарезали дурмана и багульника, вот и голова чумная.

Никто не подумал ни искать ее, ни будить. «Кабы на работу, растолкали бы»,— вздохнула она беззлобно. Вспомнила Осипа, отцово письмо, окончательно проснулась и, как была, в мятом бумажном платьишке, выскочила во двор.

На дворе стоял праздничный полдень.

Гусаров лепил «маяки» на треснувшей стене. Он сказал, что ребята с 41-бис собираются смотреть кортеж героев Арктики на Пушкинской площади. Отыскивать Осипа было почти безнадежно, и все-таки Чугуева отправилась на площадь. Телевизоров тогда еще не было, и Москва, бросив дела, толпами двигалась к центру. Трамваи стояли. На подходе к центральной магистрали тротуаров

уже не хватало. Чтобы не марать москвичей, Чугуева сошла на мостовую. Неровная булыга подворачивала ноги. Она разулась, пошла босиком.

У площади, где висел круглый запрещающий знак с лошадиной головой, ее остановили. Она объяснила, что отбилась от бригады метростроевцев. Милиционер обратился к старшему. Старший велел надеть туфли и пропустил.

Течение толпы занесло ее к Дому интернациональной книги и стало прибивать к Гнездниковскому. На выступе витрины коммерческого гастронома примостился парень со значком ГТО. Забралась и Чугуева. Стало видно, как с горки, фасады домов, разряженные флагами и лозунгами, пустую в обе стороны, промытую и подметенную дорогу, ненужные трамвайные рельсы, сконфуженно вжавшиеся в асфальт. Стрелка четырехгранного светофора выжидательно стояла на зеленом секторе. На коне ехал милиционер с шашкой. Белый конь косо гарцевал, словно сносимый ветром. Вдоль домов густо шевелились кепки, тюбетейки, фуражки, косынки, береты. Чугуева заметила кирпично-красные мохры комсорга и белокурую головку Таты. Может быть, и Осип торчал поблизости, да высматривать его было трудно. Все внимание уходило на то, чтобы устоять. Покатый подоконник был забит до отказа, а зрители все лезли и тискались. Особенно донимала сладко надушенная толстуха: цеплялась, вертелась, примащивалась. И все-таки она не удержалась, килограммы перевесили, и на ее месте оказалась входившая в моду артистка кинематографа.

— Костик, Костик! — Артистка старалась, чтобы ее увидели все.— Смотри, вот где я! Подойди ко мне! Да не сюда, а сюда. Какой ты немобильный, Костик! Иди, я за тебя буду держаться!

Кавалер ее отодвинул плечом похожую на евнуха старуху и встал, где велено.

Старуха упрекнула с достоинством:

— Нельзя ли повежливее, товарищ! Хотя бы в такой день.

— Ничего, ничего,— бормотал застенчивый Костик. На нем были фиолетовый костюм и красный галстук.

Время шло. Челюскинцы не ехали. Красноармеец выжал с подоконника значкиста, артистку придавило к Чугуевой.

— Гляди, замараешься,— предупредила Чугуева.— Я не обсохши.

Артистка с испугом взглянула на заляпанное черной глиной платье, на замшевое от цементной пыли лицо и соскочила на тротуар.

— Костик, Костик! — паниковала она.— Испачкалась, да? Мазут? Да?

— Ничего, ничего...

— Что значит ничего?! Английский креп-жоржет! С тобой пойдешь, всегда что-нибудь.

— Не переживай,— примирительно загудела Чугуева.— Грязь — не сало. Потер — отстало.

На нее не взглянула, будто ее не было.

— Гляди, и меня перемазала,— ахнула толстуха.— И откудава они берутся, рвань некультурная!

— Нехорошо, гражданка,— попробовал пристыдить ее значкист.— Они в Москву не от пряников едут. Может, ей надеть нечего.

— Все у них есть,— перевел разговор на множественное число старичок общественник.— Все имеется. Они нарочно рядятся под люмпенов. С целью.

— Будет тебе, дед,— не утерпела Чугуева.— Я с работы. Две смены, почитай, кантовались.

И на этот раз ей не возразили. Ее обсуждали, словно глухонемую.

— Голословно! — заявил значкист.— Зачем гражданке сознательно мараться? Из каких соображений?

— Известно зачем. Манифестация временных недочетов. Вот зачем.

Подошел милиционер, козырнул белой перчаткой, предложил Чугуевой сойти на тротуар. Заодно было велено очистить подоконник всем остальным. Красноармеец выразил недовольство. Милиционер схватился было за свисток, но вспомнил, что сегодня приказано проявлять особую вежливость.

— Героям Арктики не докладывали, что вы с работы,— обратился он к Чугуевой.— Что подумает то-

варищ Кренкель, когда поглядит на ваш внешний вид?

— А чего на меня глядеть? — удивилась Чугуева.— На что я ему?

— Странный вопрос. Крикните приветствие, и поглядит.

— Больно надо.

— Как вы сказали?

— Нужны ему мои приветы! Да и он мне ни к чему. Я своего скорпиона ищу.

— Вот вам, пожалуйста,— вставил старичок общественник.

— Кого, кого? — не понял милиционер.

— Ухажера своего. Он у меня письмо уворовал, зараза такая...

— В такой день, товарищи! — сокрушалась старуха.— В такой день!

Чугуева собралась объяснить подробней, кто такой Осип и как он выглядит, да не успела. На другой стороне маячила лохматая кепка. И, позабыв обо всем, кроме письма, она ринулась через дорогу. Со всех сторон заверещали свистки. Схватили ее у трамвайных путей.

На помощь милиционерам подбежали два осодмиловца, умело приняли Чугуеву под руки.

— Да вы что,— удивилась она,— ребята? Меня в газете сымали... Чего вы?

— Пройдемте, пройдемте,— мирно советовал тот, который повыше.

— Пустите. Я не убежу. Замараетесь.

— Спокойно, гражданка.

Так в первый раз за все время столичной жизни сподобилась Чугуева прогуляться по улице Горького под ручку с двумя кавалерами. Они прошли к бульвару, свернули налево, а когда пробились за памятник Пушкину, послышался голос:

— Полундра! Ваську замели!

И через несколько секунд встала перед ней футбольной стенкой вся комсомольская бригада проходчиков 41-бис: и первая лопата — Круглов, и запальщик Андрушенко, и комсорг Митя Платонов.

Красные повязки на рукавах осодмиловцев не смутили

избалованных почетом метростроевцев. Они сами часто носили красные повязки и считали себя хозяевами столицы. В толпе, как всегда, оказались защитники милиции и защитники трудящихся от милиции. Назревал конфликт. Мите заломили руку. Чугуева осторожно, стараясь, чтобы окончательно не лопнуло дырявое платьишко, стряхивала с себя блюстителей порядка.

Трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы не Тата. Она бросилась в водоворот скандала, предъявила номерной билет в Кремль. Симпатичная дочка челюскинца возмущалась, что с ее друзьями обращаются как с уголовниками, и была готова биться за них до победного конца.

Пока милиционер припоминал подходящие инструкции, над Триумфальными воротами замелькали листовки и возник радостный слитный гул, такой мощный, будто Федотов забил гол в ворота турок и стадион «Динамо», переполненный болельщиками, двинулся к центру.

Птичий базар листовок кипел от неба до земли. С каждой минутой их становилось больше. Они мелькали, как блики солнца на море, и не понять было, белые ли квадратики играют в воздухе или сама улица распалась на пестрые красно-серые клочки и резвится под веселую музыку.

Сквозь бумажную толоку медленно проплывали сверкающие «линкольны». Роскошные автомобили, декорированные розами и дубовыми ветками, осторожно продвигались вдоль улицы, и с обеих сторон впритирку к толпе белыми лебедями плыли конные милиционеры. Улица до самых крыш была налита мощным радостным воплем. Смущенные челюскинцы беззвучно кричали что-то.

Чугуева забыла и про письмо, и про Осипа. Мимо нее двигалась победа, ради которой до срока померла мама, ради которой мокнет в сибирских болотах работящий отец, ради которой сама она копается под московскими домами. Солнечное, ни с чем не сравнимое чувство счастья и гордости затопило ее.

Машины двигались бесконечным стройным потоком. Только одна, как будто нарочно, чтобы подчеркнуть порядок и стройность колонны, ехала сбоку. На ней возвышался помост, а на помосте сердитый человек крутил

ручку кинематографического ящика. «И чего он серчает, господи? Чего серчает?» — засмеялась Чугуева.

Машины удалялись. Проехала и последняя ненарядная машина с курдюком-запаской.

Подошли Митя и Тата.

— Ну и устроила ты сабантуй! — весело заругался Митя.— Другой раз вырядишься американской безработной, влепим выговор! Себя не уважаешь, рабочий класс уважай!

— Так я же с работы,— оправдывалась Чугуева.— У меня дома юбка, ни разу не надеванная... Пуговицы стеклянные. Шешнадцать пуговиц. Куды с добром!

— Тата, постой тут,— хмыкнул Митя.— Разберись, на что ей шестнадцать пуговиц. Боюсь, Круглов с осодмиловцами в пивнуху навострился. Надо поломать это дело.

И побежал по аллейке.

— Не дает ваша бригада комсоргу покоя,— сказала Тата.

— Он сроду такой моторный,— возразила Чугуева.

— Не моторный, а необыкновенный.

— Твоя правда. У нас на 41-бис двое таких. Он да еще прораб Утургаули.

— Прораба не знаю, а Митя действительно необыкновенный,— продолжала Тата, задумчиво глядя на то место, где он стоял.— Передовое, боевое мировоззрение плюс младенческое простодушие. В итоге — не характер, а гремучая смесь. Ты не обидишься, Васька, если я задам тебе вопрос? Строго между нами?

— Про мартын? — спокойно поинтересовалась Чугуева.

Тата кивнула.

— Он тебе сказал, что я мартын бросила?

Тата снова кивнула.

— Вишь, необыкновенный! — Чугуева грустно улыбнулась.— Мне доказывал, что не я, а тебе — что я.

— Говоря честно, я не могу поверить, что ты способна покушаться на убийство.

— Я и сама не верю. Видно, и правда, тогда это не я была. Морда, может, моя, комбинезон мой, а в общем и целом не я. Ужахнулась я тогда... Да тебе не понять.

Смеяться станешь. Никому не понять, кто не ужахался.

— Тем более. Не надо было упрямиться, если была не в себе. Митя тебе втолковывал, а ты упиралась: «Нет, я, нет, я». Что ты хотела доказать?

— Ничего. Хотела, чтобы взяли меня. Не век же таиться.

— Может быть. Но зачем козырять кулацким происхождением?

Чугуева нахмурилась:

— Он тебе и про лишенку сказал?

— Между нами давно нет секретов, Маргарита.

— Я ему одному призналась.

— А это с твоей стороны эгоизм. Жестокий эгоизм.

— Как это?

— А вот как. Предположим, мой отец — троцкист или еще что-нибудь, еще более мерзкое. Если бы я была до конца принципиальна, я должна выйти на трибуну и публично разоблачить его. И вот я думаю, хватило бы у меня духа? Сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Скорей всего, тащила бы свой позор тайком... Мне еще закалять и закалять характер. В одном только я могу поклясться: я бы не поделилась своей поганой тайной ни с кем. По какому праву я должна заставлять мучиться еще кого-то?

Чугуева смотрела на белую от листовок мостовую. По-прежнему гремела ликующая музыка. По-прежнему пестрели флаги и лозунги, а ощущение легкости и счастья стало удаляться, блекнуть.

Дорога была завалена мятыми листовками и давлеными цветами. Люди, которые только что кричали, махали шапками, пробивались вперед, бесцельно и как будто разочарованно брели в разные стороны. Увозили тележки мороженщики. Прикладывали рублевку к рублевке торговцы разноцветными шарами. Чугуевой стало неуютно. Словно баптистка забрела в православный храм да еще «ура!» кричала, кошка приблудная.

— Я Митьке покаялась, чтобы взяли меня,— повторила она мрачно.

— Не верю,— возразила Тата.

— От челюскинца народилась, вот и не веришь. А я вот не сдогадалась от челюскинца...

— Не говори глупостей. Желала бы признаться, пошла бы в открытую с повинной. А ты только Мите призналась, ему одному, и никому больше, и не в открытую, а по секрету. А почему? Потому что понимала, что он не станет тебя губить. Ношу на него перевалила, вот дело в чем. Поняла?

— Чего не понять,— Чугуева вздохнула.— Вроде попу исповедовалась. Грехи скинула... Мудровата ты, девка...

— Ну вот и дотолковались. Это и называется эгоизм. Подумай, в какое положение ты поставила комсорга. Ему известно уголовное преступление, известен преступник, а он вынужден молчать. Долг Мити — разоблачить чуждый элемент, а совестливость и, если хочешь, ложное благородство не позволяют. Это же суметь надо: пострадавшего от твоей руки сделать сообщником, соучастником своего преступления. Парадокс какой-то. Как бы все упростилось, если бы ты была примитивная прощелыга.

— Ты бы доказала?

— Разве в этом дело: доказала — не доказала? — Тата поморщилась.— В конце концов, дело не во мне. Предположим, я довела до сведения. Что получится? Неужели тебе непонятно, в какое опасное положение ты поставила Митю? Если сопоставить факты, Митя с тобой в кулацком заговоре.

— Ну да уж!

— Конечно. Ты говоришь верно, все тайное становится явным. Как я могу соединить свою судьбу с Митей, если знаю, что его в любую минуту...

— Что же делать-то? — спросила Чугуева растерянно. Она устала слушать и понимать. Предобморочное отчаяние, которое мутило ее, когда она бросала на Митю мартын, подступало и теперь. На той стороне улицы засмеялись.

— Скажи, пожалуйста,— услышала она, словно в телефонной трубке,— знает кто-нибудь, кроме нас троих — кроме тебя, Мити и меня,— знает еще кто-нибудь про твое прошлое?

Чугуева посопела и сказала, глядя в сторону:

— Нет.

— Никто-никто? — Тата уставилась на нее красивыми глазами.

— Нет.

— Тогда вот что. Держи язык за зубами. И трудись. Трудись еще лучше, чем раньше.

— Простят? — встрепенулась Чугуева.

— Может быть. Любые грехи искупаются трудом. Ударным, честным трудом, и только.

— Так ведь я и писателя подвожу,— проговорила Чугуева упавшим голосом.— Нет, девка, я, видать, сроду заразная. К кому ни прислонюсь, замараю. Я и тебе слукавила.

— Так я и чувствовала!

— Еще один дурачок про меня знает. Все как есть.

— Боже мой! Он где? В Москве?

— В Москве.

— Кто?

— Этого я тебе не скажу.— Она поглядела на Тату тяжелым взглядом.— А за Митьку выходи. Ничего ему не будет, потому что...

Чугуева не успела закончить. Явился Митя. Посмотрел подозрительно на обеих, спросил:

— Про меня трепались? Ты ее не больно слушай, Васька! Она тебе накатает сорок бочек арестантов. Подавай в комсомол, пока меня в начальники шахты не поставили.

— Какой комсомол! — вздохнула Чугуева.— Я верующая.

— Ну и что? В нашу веру переходи. У вас хлопот много: и в бога верить, и в Миколу осеннего, и в Егория вешнего. А у нас проще — каждый день масленица.

— То и беда, что у вас масленица,— вздохнула Чугуева и пошла к Триумфальным воротам.

Трудилась она в метро около года, а Москвы, по правде сказать, не видала. Единственным ее маршрутом было: Лось — Казанский вокзал — штольня — и обратно. Да однажды дурной случай занес ее в ресторан «Метрополь». Вот и все, что она видела в столице.

И прежде, чем кончить с фальшивой жизнью, прежде, чем отдаться властям, потянуло ее проститься с Москвой и

поглядеть, что за чудо Триумфальные ворота. Уж больно название прекрасное. Рассказывали, что через арку этих ворот проезжали из Петербурга кареты с царями и царицами, что по бокам и сейчас стоят, как живые, чугунные богатыри с копьями, а на самом верху чугунные жеребцы, дыбком. Интересно поглядеть, как они теперь, эти ворота, замкнуты или отворены для простого народа.

16

Комсомольская организация Метростроя проводила политудочку. В политической зрелости соревновались две шахты. Организация мероприятия, приуроченного к возвращению челюскинцев, была поручена Мите Платонову. По его просьбе секретарша Надя печатала на аккуратных листочках контрольные вопросы (совершенно секретно!), его трудами и уговорами сколачивали оркестр из мандолин, балалаек и деревянных ложек. По его инициативе библиотекаршу заставили притащить два мешка книг, чтобы желающие украсить выступление цитатой имели под рукой первоисточник. Лично от себя Митя Платонов послал приглашение летчику Молокову принять участие в жюри и бился на спор, что полярный герой не посмеет отказаться, поскольку политудочка проводилась на тему исторического, вошедшего в сокровищницу, доклада. Молоков почему-то не приехал. Зато все остальное было обеспечено, и явка составила 99,5 процента.

Сцена была перегорожена ширмой из трех байковых одеял. За ширмой скрывалось жюри: агитаторы шахт, молчаливый товарищ Шахтком с блокнотом, заведующий личным столом Зись и, конечно, комсорг славной 41-бис Митя Платонов.

Со стороны зрителей перед ширмой стояла белая табуретка, а рядом этажерка, алеющая переплетами. В углу жался сборный оркестр.

Проверка знаний совершалась просто. По рупору называлась фамилия. Вызванный поднимался на сцену, садился на табуретку и забрасывал удочку за ширму. Платонов

прикреплял на крючок бумажку с вопросом и кричал: «Клюет!» Бумажка выуживалась, вопрос прочитывался вслух. На обдумывание полагалось три минуты. Сборный оркестр тихонько играл задумчивую музыку. В заключение нужно было снова закинуть удочку и выудить премию: коробку папирос, брошюру о роли профсоюзов, флакон духов, а то и соску-пустышку — намек на крайнюю политическую беспомощность.

Сцена была ярко освещена. Длинный зал женского общежития был полон. Метростроевцы посещали спектакли политудочки охотней, чем футбол.

Мероприятие пошло как по рельсам. Ребята 41-бис побивали соседей по всем показателям (это неудивительно: секретарша 41-бис Надя, воспитанная в духе взаимопомощи, совершенно секретно заранее раздала желающим копии вопросов). Митя пребывал в состоянии азартного восторга. Так же, как и все остальные, он не ведал, какая мощная мина готовится погубить гладко начатое состязание. Он выкликал по радио фамилии, выискивая вопросы, подмигивал оркестру, помогал Наде выбирать подарки. А бикфордов шнур уже тлел, огонь подбирался к запалу, и приближалась минута, когда должен был ахнуть взрыв.

Мина эта, не чуя ни рук, ни ног, притаилась в семнадцатом ряду. Звали ее Чугуева.

Разговор с Татой ножом врезался ей в душу. Она поняла — подошел срок кончать фальшивую жизнь. Всю ночь она писала заявление, а утром встала в очередь к судье.

К ее удивлению, судьей оказался не мужчина, а больная курящая женщина. Женщина устало спросила, что у нее.

— Жалоба,— сказала Чугуева.

И протянула графленые бланки нарядов, на которых были изложены ее преступления и проступки.

Женщина спросила, на кого жалоба.

— На меня,— сказала Чугуева.

— На вас?

— А то на кого? На меня самою. Вы зачитайте.

— А кто писал?

— Сама. А то кто же.

Женщина прикурила папироску от папироски и спросила:

— На что жалуетесь?

— А я Митьку Платонова убила.

Женщина устало осмотрела ее.

— Вы что же... с повинной явились?

— Да, да...— Слово «с повинной» пришлось Чугуевой по душе.— С повинной, с повинной,— закивала она и засопела радостно.

— А кто этот Митька?

— Комсорг 41-бис. Гнедой такой из себя.

— Метростроевец? Когда это произошло?

— Давно уж. Вы зачитайте. Перед Первым маем.

Женщина положила папиросу на пепельницу и накрыла глаза рукой.

— Не верите, самого спросите,— сказала Чугуева.

— Кого?

— Да Платонова. Он на 41-бис нонича. Комсоргом.

— Вы сказали, что убили его.

— Ну да. Я убила, а он оклемался.

— Почему же он не подает на вас в суд?

— Да он говорит, не я убивала. У меня все написано. Зачитайте.

— Мне некогда, гражданка. Пойдите к секретарю, сдайте ваши бумаги, оставьте адрес. Разберемся и вызовем. Следующий.

Чугуева думала, что ее сразу возьмут под стражу. Она и пришла с узелком, в котором было все необходимое для тюремной жизни. Оказывается, и тут волокита. Ей очень хотелось, чтобы судья сама прочитала жалобу. Белобрысая секретарша была ненадежная, молоденькая, вроде Нади. И, когда вошел следующий проситель, заплаканный мужчина, Чугуева все еще топталась у письменного стола.

— Вам непонятно, гражданка? — спросила судья.

— А ежели я лишенка беглая? — спросила Чугуева.

— Ну и что?

— Тогда, может, сами зачитаете?

— Пройдите к секретарю, сдайте бумаги и оставьте адрес. Разберемся и вызовем. Все.

Чугуева прошла мимо секретарши на волю. Не послу-

шалась Мити, струсила, вот бог и наказывает. Напакостила в одном месте, а каяться норовила в другом. Нет, девка, где пакостила, там и кайся.

И вдруг будто кто-то ей на ухо шепнул: двадцать третьего политудочка. Выйди на сцену и казнись на людях, признайся, какая ты мастерица-ударница. Чего проще.

Собирала себя Чугуева на первую и последнюю свою публичную речь, как покойницу: надела чистое белье, лицованный пиджачок, юбку на шестнадцати пуговицах, прикрасила губной помадой щеки. Посмотрела в зеркало-трюмо, на нее глядела угрюмая матрешка с красными щеками. Она разбудила Машу-лаборантку, застенчиво посопела и попросила постричь ее по-городскому. Маша была бывшая парикмахерша. Причесывать подруг она любила. Не теряя времени, она бросила на примус щипцы, отважно отхватила Чугуевой косу и принялась накручивать русые колечки перед ушами. Ее тоже назначили соревноваться на политудочке, и, ловко орудуя щипцами, она повторяла наизусть пять причин затяжного кризиса капитализма, четыре военных плана буржуазных политиков и два факта, отражающих успех мирной политики СССР. Окорачивая волосы на затылке, она перечисляла пять общественно-экономических укладов, десять недостатков в работе промышленности и одиннадцать условий ликвидации этих недостатков, две линии в сельском хозяйстве — одну неправильную, а вторую единственно верную, шесть задач в области идейно-политической работы и три задачи в области работы организационной. Сооружение прически кончилось тем, что Маша воткнула гребень не на затылок, а спереди, со лба. Чугуева глянула в зеркало. Волосы стояли дыбом.

— Смеяться не станут? — спросила она.

Маша успокоила: прическа выполнена в точности под фасон для круглого лица, утвержденный народным комиссаром легкой промышленности.

И вот разукрашенная Чугуева сидела в семнадцатом ряду. Сперва вызовут Мери, после Мери кого-то из соседней шахты, а потом ее... Она слушала смех, шутливые подсказки, гремучий стук бубна, и на рыхлом лице ее не отражалось никаких чувств.

Мери отвечала легко, кокетливо, и если бы «картели», «монополии» и «деградации» реже срывались с ее резвого язычка, можно было подумать, что она тараторит с очередным ухажером.

— Во чешет! — громко проговорил Круглов.

— Видать, итээровка,— определил изолировщик соседней шахты.

— По ночам,— уточнил Круглов.

Мери дошла до четвертой причины, а ей уже хлопали, чтобы закруглялась. Она сделала шутливый реверанс и закинула удочку.

— Шоколадину заработала,— предположил изолировщик.

— Пузырек духов,— сказал Круглов.— У ней в жюри рука.

Оркестр заиграл «яблочко», и зрители разразились смехом. На крючке моталось мокрое яблоко. Мери не сразу догадалась, что гнилой плод служил символом недоброкачественного ответа, а когда сообразила, запустила яблоко за ширму. Выскочил Платонов с мокрым пятном на пиджаке. А за ним мерной поступью вышел заведующий личным столом товарищ Зись.

Сперва смолкли барабаны, бубен и позже всех мандолина.

— Где находишься? — накинулся на Мери Платонов.— Безобразие!

— А тебе кто права давал насмехаться? — заносчиво возразила Мери.

— Надо отвечать как положено,— вступил товарищ Зись.

— Я и отвечаю!

— А не разводить вредную отсебятину,— продолжал товарищ Зись.

— Я и не разводила...

— Не разводить отсебятину, что буржуазия была революционным классом. Буржуазия не способна быть революционным классом...

— Это вы, наверное, не способны! А Маркс-Энгельс сказал — может!

— Не может быть революционным классом,— разви-

вал мысль товарищ Зись,— поскольку буржуазный класс состоит из буржуазии, из эксплуататоров и капиталистов.

— Сами вы состоите из эксплуататоров,— дерзила Мери.

— Эксплуататоров и капиталистов. И на корячки приседать нечего. Здесь вам не оперетка «Сильва», а пролетарский клуб.

— Ах, простите! — Мери сделала глубокий реверанс. Ребята смеялись.

— Она правильно формулирует,— послышался голос.

Товарищ Зись шагнул к рампе.

— Кто крикнул реплику? — спросил он.

Зал смолк. Чугуева оглянулась. В проходе среди опоздавших жался Гоша. Сутулая фигура его изображала пугливое изумление. Вступился и тут же струсил.

— Кто подал реплику про формулировку? — повторил товарищ Зись.

Все молчали. И Гоша молчал в проходе.

— Вот до чего доводят непродуманные ответы,— подытожил товарищ Зись.— Ваша фамилия Золотилова? С 41-бис? Садитесь пока.

Чугуева засопела. Сейчас выйдет кто-то чужой, а за ним выкликнут ее.

Запальщику соседней шахты предлагалось разъяснить: «Кто такие донкихоты?» Неподкованного товарища этот научный вопрос мог бы довести до колики. Но запальщик был агитатором и сам задавал такой вопрос десятки раз.

— Это люди,— отчеканил он,— лишенные элементарного чутья жизни, далекие от марксизма, как небо от земли. Они не понимают, что деньги являются тем инструментом буржуазной экономики, который взяла Советская власть и приспособила к интересам социализма.

Запальщика наградили коробкой «Дели». Грянул туш. Под бурю аплодисментов щедрый победитель заложил за ухо каждому музыканту по толстой папиросе. Он закурил и сам и тогда только отправился на место. Дежурный пожарник поднял шум, но что было дальше, Чугуева не слышала. Ее вызвали, и она пошла на эшафот.

В проходе она невзначай натолкнулась на Гошу. Он

обернулся. Был повод помедлить, и эти секундочки показались Чугуевой несказанно сладостными.

— Здравствуйте,— сказала она тихонько.

Гоша безмолвно смотрел на нее.

— Здравствуйте,— повторила она.— Или не узнаете?

— Васька? — проговорил он испуганно.— Что у тебя за прическа?

Ее вызвали второй раз.

— Ступайте садитесь. Мое место ослобонилось. Я не вернусь.

Машинально поднялась она по скрипучему ступенчатому ящику, придвинутому к сцене, машинально взяла удочку и повернулась к темному залу.

Ей приказали:

— Закидывай удочку!

В сумерках проступили стены с занавешенными окнами, лица, прищуренные глаза портретов, меловые буквы призывов.

— Закидывай удочку, зараза! — сказали за ее спиной.

— Дорогие!..— начала Чугуева и осеклась. Не так начала.— Товарищи...— попробовала она продолжать. Опять не так. Какие они ей, лишенке, товарищи?

Гоша сидел на ее месте, вытянув длинную, как рука, кадыкастую шею. Как он рвался на политудочку! Как верил в Чугуеву, как расписал ее в повести! Она и надоумила его приехать, когда он пожаловался, что пьесе не хватает политического звучания. Здесь, мол, звучания на десяток пьес хватит: исторический доклад, молодежь из двух шахт да летчик Молоков в придачу — куда с добром! Приехал, а вместо Молокова скандалистка Мери да гнилое яблоко.

Чугуева отвела глаза и заметила бледное лицо Бори. Крепильщик Боря вкалывал с первого дня строительства, тайком харкал кровью и спрашивал: «Вы часом не с Одессы?» И на работе и во сне тоскует он по теплому югу, по теплому морю. И Чугуеву мучит его тоска...

А вот в конце зала веселый парень, сорвиголова Круглов со своей братвой. Как всегда на собраниях, немного под мухарем. Разве забыть, как он вызволял ее от осодмиловцев, как ручался за нее головой?!

А вот из первого ряда оглядывает ее прораб Утургаули Если бы этот вечно злющий, вечно небритый инженер знал, как она обожает его!.. Что бы с ним было, если бы узнал он, что самое заветное воспоминание ее связано не с маменькой, не с тятенькой, а с ним, с прорабом Утургаули...

Однажды он погрузил ее в кузов полуторки и погнал машину за гвоздями. Пока доехали до базы, гвозди кончились. Утургаули, по обыкновению, залился нескладным матом, залез в кузов и на обратном пути требовал, чтобы Чугуева ответила: могли бы выкопать метро ребятишки из детского сада? Чугуева молчала, ошалев от ужаса и восторга. А Утургаули кричал, что выкопали бы, и выкопали бы досрочно, но чего бы это стоило народу и государству! Внезапно он остановил машину и повел Чугуеву в ресторан. В зале высоко бил фонтан и блестели накрытые столики. Себе Утургаули заказал графин очищенной, а Чугуевой бутылку вина. После первой рюмки он заговорил по-грузински. Он выпил графин, потом бутылку вина и непрерывно доказывал что-то на грузинском языке. А потом Чугуева повезла его домой. В таксомоторе он то спал, то кричал, что его не туда везут. Эта короткая, минут на десять, поездка и осталась ее единственным любовным приключением...

Вспоминая впоследствии свое состояние, она поражалась четкости мгновенных видений, словно тень ласточки, пересекавших память. За эти пять — десять секунд она поняла: пока в зале Боря, Маша, Круглов, Утургаули, ни одного слова вымолвить ей не суждено. Кабы чужие сидели, сказала бы, не сморгнув, кабы начальство, тоже сказала бы. Не устрашилась бы ни суда, ни тюрьмы, не испугалась бы и высшей меры. Но у нее не хватало жестокости марать своей скверной, позорной правдой доверявших ей девчат и мальчишек. В душе ее бушевала буря, а привыкшее к послушанию тело совершало, что велено. Рука забросила удочку за ширму, глаза прочитали вопрос: «Почему плохо думать, что в нашей партии уклонов больше не будет?» Она не поняла ни слова и тупо глянула в зал. (В этот момент она заметила Борю.) Оркестр затянул «Песню без слов». Зрители хихикали. Что-то спросил

Платонов. Она что-то ответила. Он дал вопрос полегче: «Кто является основоположником марксизма?» (В это время Чугуева увидела Утургаули.)

Платонов ждал, зал шумел, а она стояла, как манекен на витрине.

Ей было ясно, что она дошла до крайней черты. Признавайся не признавайся, назад хода нет. И все-таки заставить себя говорить не могла.

— Ослобони, Митя,— проговорила она с трудом.

Он вытащил самый элементарный вопрос, что-то вроде: «В каком месяце разразилась Февральская революция?» Она и не поглядела. Сошла со сцены и отправилась на свое место, и насмешливый шум сопровождал ее до семнадцатого ряда.

Гоша произнес что-то утешающее.

— Заткнись! — Она глянула на него с ненавистью.

А на сцене неловко управлялся с удочкой Осип. Вопрос ему достался каверзный.

— «Какой. Уклон. Опасней. Правый. Или. Левый?» — прочитал он, ответил, что левый, и закинул удочку. На крючке болталась коробка «Дели».

Осип был порядочный жадюга. Однако на людях он решил пофорсить и, по примеру Круглова, надумал угостить музыкантов. Коробка оказалась пустой. Зал смеялся. Оркестр играл «Полным-полна коробушка». Подошел Платонов, попросил закурить. Лицо Осипа заострилось. Он наконец понял, в чем дело...

— Погоди! — удержал его Митя.— Кто желает исправить ответ предыдущего оратора?

Чугуеву точно током дернуло.

— Я желаю! — воскликнула она пронзительно, словно кликуша. И не заметила, как очутилась на сцене. Митя смотрел на нее с опаской.

— Хуже всего уклон, против которого прекращают бороться! — прокричала она.— А прекращать борьбу никак невозможно, поскольку чужаки просачиваются, ровно плывун, изо всех дыр...

Митя захлопал. Вслед за ним захлопал и зал.

— А ты куда собрался? — крикнула она Осипу.— Погоди, послушай, чего скажу. Знаешь чего?

— Чего? — Осип остановился.

— Тебе левый чужак опасней, а мне такой, как ты. Чего моргаешь? Поясни, как с покойницы брошку сымал. Моргаешь? Ну так я сама разъясню. На четвертой дистанции покойницу откопали, а он с нее брошку снял. Снял да на меня нацепил. Ей-богу, правда... Вон какой распрекрасный кавалер! Любовь затеял! — Зал засмеялся. Осип выпучился на Чугуеву.— Подает брошку: цепляй, мол. Сам из шахты не понес, боялся, обыщут. А меня сроду не обыскивали. Вот он и нацепил на меня. Его, лапушку мово, попробуй ослушайся. У него финка с пружиной. Вон в этом кармане.— Она ткнула Осипа по карману.— Только вышли из шахты, сорвал брошку — и в Торгсин... Намедни в котловане своей финкой вон этакий кусок брезента отмахнул. Куды ты его дел-то? Али новой зазнобушке гостинец?.. Эх ты, дурачок! В котловане аварийная обстановка, а он хоть бы один гвоздь забил! Я за ним, как за наркомом каким, инструмент таскаю, а он фокусы кажет — спички из носа тягает!..

— Придерживайся регламента! — Осип угрожающе закрыл глаза.

— Ага, припекло маленько! — обрадовалась Чугуева, притянула его к себе и проговорила, словно по секрету: — Уж не знаю там, правый ты или левый, а что лодырь ты и первый вор на шахте, это мне известно. Мы же с тобой — с одних саней оглобли...

— Долго еще? — спросил Осип ржавым голосом.

— Да все, зазнобушка моя,— улыбнулась она жалостливо.— Пропекло — и хватит. Пущай все знают, лодырь ты и вор, на чужих спинах в рай норовишь. А коли чего недосказала, напомни...— и крикнула в зал: — Вы его не пускайте садиться. Пущай об себе сообщит. И обо мне, если желает... Я не против...

Ну вот. Сейчас кончатся ее муки и воротится судьба на предначертанные пути... Ей было точно известно, как начнет сейчас Осип. «А знаете, кто она такая сама-то, премированная ударница Чугуева?»

Осип заговорил тихо. Она прислушалась и не поверила своим ушам.

— Недочеты в работе признаю целиком и полностью,—

бормотал Осип.— Постараюсь улучшить с помощью коллектива...

Говорил он и еще что-то, но это было неважно. Важно, что победу на политудочке присудили шахте 41-бис; особо была отмечена товарищ Чугуева, умело увязавшая вопросы теории с отдельными недочетами, иногда имеющими место среди одной части трудящихся на некоторых участках в практической деятельности шахты.

17

Подошел срок объявить, что такое Осип Недоносов, и разъяснить его дурное поведение.

По анкете родился Осип Недоносов в глухой деревне. Отец его был коренным бедняком, знал кое-какие ремесла, а когда жевать было нечего, нанимался в смолокуры. Но ему не везло. Махнул он на все рукой, стал жить как попало и жену взял, какая попалась.

Явился Осип на божий свет не то в 1910, не то в 1911 году — в документах писано по-разному.

Усталая природа мастерит иногда бракованный товар: сросшихся близнецов, шестипалых уродцев, младенцев без небной перегородки, двурушников, наушников, гермафродитов и добровольных стукачей. Над Осипом она подшутила иначе: начисто лишила присущего нормальному человеку мучительного дара — совести.

Передовая наука считает, что существует совесть буржуазная и совесть пролетарская. Как показала резня в Хиосе, имеются совесть христианская и магометанская. Есть совесть хозяина и совесть холопа. У Осипа не было совести никакой — ни пролетарской, ни буржуазной, ни магометанской, ни христианской. Понятие совести было для него таким же пустым, как понятие солнца для слепца от рождения.

Взамен совести природа одарила его опасным талантом: он быстро и безошибочно угадывал слабину в человеческом характере.

Первой почуяла беду мать. Как ни корила она себя, а будто ей кто-то из-за плеча шептал, что понесла она от

нечистой силы. Семи лет мальчишка середь гостей голышом ходил и не стыдился. И покойников не боялся. В гражданскую много их было. Глядит на убиенного и ухмыляется половиной губы.

А полностью убедилась мать, что произвела на свет антихриста, в 1919 году. Жили они тогда в распадке, верстах в двадцати от таежной станции. На восток, к Тихому океану, шли эшелоны белых. В сумерки поезда останавливались среди поля. Стояли до рассвета — боялись партизан. И все же вагоны валились под откос, а одно крушение случилось возле распадка. Осип туда бегал. Ребятишки видали, как он шарил по карманам офицера, придавленного колесной парой.

В голодной, забытой богом деревне красных партизан сроду не водилось, а таежные бабы в толк не могли взять, кто они сами-то такие, красные или белые. Знали одно: сошел поезд с рельсов — жди кары. И правда, на другой день пришло войско. Лихие колчаковцы выхлестали нагайками из чуланов да с печей всех до одного, отыскали улики: там костыль в стенке, там старая полковничья папаха. Тонконогий поручик, ловкий, видать, танцор-падеспанщик, прочитал бумагу, и на глазах жен и ребятишек расстреляли каждого десятого. Баб, которые помоложе, пороли.

Бедолага смолокур в десятые не попал, но его все равно расстреляли. Расстреляли за пистолет системы «Вальтер», который снял с убитого офицера и притащил домой Осип. Оружие нашел за образами поручик.

Маленький Осип в момент учуял: поручика можно улестить трусливой угодливостью. И когда мужиков согнали закапывать трупы, так ловко стаскивал с расстрелянных сапоги, что получил кусок рафинада.

Мать, молча, как околдованная, простоявшая все страсти, крикнула дико и побегла сломя голову. Нашли ее в тайге. Отпостилась она сорок ден и угасла. А Осип пошел по миру.

Иногда кажется, что существует какая-то сила, указующая ползучему хмелю путь к ближайшему колу или стволу. Та же неведомая сила потянула и Осипа и завлекла его в пшеничный Минусинский уезд, к богатому мужику

Самсонову. Мужик был набожен и грозен. Домашние величали его не иначе как «сам» и боялись пуще огня. Не только от самого, от пимов его шарахались. В начале нэпа на Самсонова трудилась вся родня — и близкая и дальняя. Кроме прочего, у него была кожевенная мастерская и лавка, записанная на бессловесного дедушку Филарета. Осипа Самсонов взял на харчи, не сморгнувши.

Сперва Осип обрадовался, но скоро небо ему показалось с овчинку. Он быстро понял: подавляющей страстью хозяина было выжимать деньгу любым способом. Самсонов словно забыл, что мальчонке двенадцатый год от роду: понуждал и пилить, и скобы ковать, и рамы вязать, и кожи мочить, и глину топтать наравне с большими.

Осип из сил выбивался, ждал, что благодетель хозяин поставит его в лавку, на место старого Филарета. Дочка как-то пожалилась: у мальчонки, мол, рука во сне дергается. «Полно! — отмахнулся Самсонов.— Приснилось, будто пилит. Чего такого?» Совсем бы дошел паренек до нуля, если бы не дедушка Филарет. Бывало, уложит Осипа в телегу, накроет шубейкой, а сам пилит вместо него.

Обо всем этом появилась заметка в газете «Батрак». В заметке отмечалось, что Самсонов за обедом в шутку поет передовицы из «Батрака» в гул, на мотив «Боже, царя храни». И подпись была — Селькор.

Самсонов собрал родню, допытывался, кто писал. Дознаться не мог. А ночью проник к хозяину Осип и шепнул, что селькор — дедушка Филарет.

— Ты чего это, оборотень? — Самсонов вроде даже растерялся.— Своих топишь?

На другой день позвал Филарета, посадил против себя, медленно сатанея, стал проверять долговую книгу, да вдруг притянул за оба уха, поцеловал крепко да как вдарит с полного замаха. Дедушка свалился набок вместе со стулом.

После кончины дедушки Филарета работники Самсонова решили Осипа извести. Он почуял опасность, убежал в город и поселился при школе. Там учился и жил как бы за сторожа.

Кроме Осипа, в каменном доме школы проживала учи-

тельница по родной литературе, старая дева Вера Семеновна. Слабость ее заключалась в застенчивости. Она и замуж не вышла, наверное, от застенчивости. Оглядевшись на новом месте, Осип повадился к ней, угадывая ко времени, когда она пила чай, забеленный молоком. В просторной ее комнате осталась память отца, бывшего директора этой самой школы,— четыре шведских шкафа, забитых книгами.

Вера Семеновна жалела Осипа и за то, что он сирота, и за то, что левша, и за то, что плохо учится.

Однажды, смущаясь и краснея, она спросила, не брал ли он случайно шестнадцатый том энциклопедии Гранат. Осип усмехнулся половиной рта, допил чай, сказал: «Вон их сколько еще стоит, Гранатов»— и вышел. Книги продолжали исчезать. Положение становилось мучительным. Запирать комнату Вера Семеновна не смела. Мальчик мог обидеться. А напрямик обозвать сына красного партизана вором она была не в силах.

Наконец ей показалось, что выход найден.

— Осип,— сказала она торжественно.— Ты уже вырос, подкован. Пора подумать о комсомоле.

Рождение нового члена Коммунистического Союза Молодежи Вера Семеновна отпраздновала с цветами и с бутылкой «Абрау-Дюрсо». Подняв старинный бокал, она сказала:

— Я верю, Осип, что отныне ты будешь достойно нести на груди значок КИМа и не запятнаешь его дурными поступками,— и покраснела.

На другой день пропали еще две книги.

Вечером, когда Вера Семеновна проверяла тетради, к ней постучался незнакомый молодой человек в красных штиблетах. Он показал удостоверение, которое Вера Семеновна из деликатности не стала читать, достал из портфеля третий том монографии Шильдера об Александре Первом и спросил:

— Ваша?

Вера Семеновна бросилась к шкафу. Третьего тома недоставало. В глубине души она обрадовалась: очевидно, Осипа поймали на базаре, и теперь будет хоть какая-нибудь точка.

— Вредная у вас литература,— пояснил молодой человек.

Она открыла рот, чтобы объясниться, но молодой человек повысил голос:

— И еще, гражданка, довольно совестно педагогу гонять учеников на толкучку. Если вам не хватает получки, подайте заявление на взаимопомощь.

На другой день Вера Семеновна вызвала Осипа с урока и спросила, ломая пальцы:

— Как у тебя повернулся язык вводить в заблуждение представителя власти? Зачем ты сказал, что я посылаю тебя продавать книги?

Он ухмыльнулся:

— А как же... Не скажешь, из комсомола попрут.

Через неделю в клубе железнодорожников состоялся доклад о загнивании интеллигенции. Среди прочих фактов было упомянуто, что некоторые педагоги зазывают учащихся на выпивки и понуждают спекулировать нежелательной литературой.

После доклада Вера Семеновна собрала вещички и уехала куда-то. И никто о ней не вспоминал с той поры...

Дальнейшая жизнь Осипа отмечена событием, которое посторонним казалось непонятным и необъяснимым. В него влюбились. Да, да. В него влюбилась набожная тихоня двадцати трех лет — школьная уборщица Манефа. Добро бы, не знала его. А то ведь знала, со всех боков знала, и про воровство не могла не знать. А дело было в том, что судьбу Манефы ломала неизбывная жалостливость. Осип учуял это, стал сетовать на свою несчастную долю и своими рассказами доводил до слез не только Манефу, но и ее мамашу.

А вскоре он уже забирался на полати к Манефе, и Анисье Пахомовне пришлось признавать зятя. Пригревшись возле тощего жениного бока, Осип ворчал про беспорядок в доме, про постные щи, про нищету. Сперва Манефа отмалчивалась, а в конце концов открылась. Отец ее, Фома Игнатьевич, во времена давние служил дьяконом. И, как только Манефа пошла в школу, ребята стали травить ее, дразнить «гнилой просвиркой». Сердце обливалось кровью у Фомы Игнатьевича, когда маленькая дочурка отправля-

лась на уроки. Думал, думал, что делать, и порешил сложить сан. Кстати, подоспел декрет об изъятии церковных ценностей, и бывший дьякон стал содействовать властям в этом щекотливом деле.

Фоме Игнатьевичу дали должность в музее, а жить все-таки стало голодно. Музейного жалованья едва хватало на нутряное сало, необходимое для лечения Анисьи Пахомовны. Фома Игнатьевич скрепя сердце снес в дар государству серебряную ладанницу. При этом произнес подобающую речь про Минина и Пожарского и вызвал трудящихся следовать его примеру. Ладанницу приняли с благодарностью, Фому Игнатьевича отметили в местной газете в отделе «Обо всем понемногу», а через некоторое время посадили. Рассуждали логично: поскольку у бывшего священнослужителя завалялось церковное серебро, постольку у него, возможно, завалялось и золото. И были правы: воротившись домой после церковного венчания, Анисья Пахомовна подала дочери наперсный крест алого акатуйского золота, пала на колени и молвила:

— Дар тебе от батюшки твоего, многострадального Фомы Игнатьевича. Повелел вручить тебе лично в руки, когда сочетаешься законным браком.

«Э-ге-ге! — подумал Осип.— А тянул-то дьякон покрупному».

Двое суток перепрятывала Манефа тяжелый, будто водой налитый крест из одного угла в другой, а Осип раскидывал умишком, как надежнее перекантовать червонное золото на бумажные червонцы, имеющие хождение наравне с прочими ценными бумагами. Ночью, страшно блестя черными глазами, Манефа сказала:

— За этот крест будем тятеньку из темницы выкупать...

Осип не спал ночь. Утром спросил:

— А если обыск?

— Пускай ищут.

— Не найдут?

— Нет. Далеко схоронила.

— И я не найду?

— Куда тебе! Змее и той не найти!

Осип ухмыльнулся и показал крест издали. Манефа

кинулась на него, пиджак порвала, щеку разлиновала ногтями. Осип никак не ожидал такой силы от малокровной супружницы.

— Сегодня отчет на бюро, а ты морду корябаешь,— попрекнул он, промокая кровь полой пиджака.

— Запомни, папаня мне дороже золота. Завтра снесу крест. Меня богородица вразумила, матушка.

— Ничего она не петрит, твоя богородица,— возразил Осип,— подумай сама: он второй год не раскалывается, на его, может, рукой махнули, выпускать собрались, а ты выкуп тащишь. За серебро посадили, дочка золото доставила. Еще посидит, глядишь, камушек адаман притащит...

Манефа прислушалась.

— Вы с богородицей как хочете, мое дело десятое. А есть у меня надежный кореш. Он для меня кого хошь засадит и вызволит. Окажи уважение, он твоего родителя без всякого шума ослобонит.

Господь вразумил Манефу послушаться. Осип снес куда-то крест, сказал, что дело слажено, а на другой день исчез. Вернулся голодный, как волк, и злющий. Манефа от радости голову потеряла.

— Матушка, царица небесная! — причитала она.— А я, дура, искушалась, совсем убег. Да куда тебе бежать, кому ты нужон! — то смеялась она, то плакала.— Кому ты нужон, уродушка ты мой.

— Ладно тебе,— огрызался Осип.— Пожрать собери!

— Ах ты, матушка-заступница! — смеялась и плакала Манефа.— Радость я тебе припасла, дурачок сладостный. Дите у нас будет. Гадала — мальчик...

— Ложку подай!.. Мальчик, мальчик.

— Чего же ты, уродушка, делаешь со мной, хоть бы написал, что да как. Едва не рехнулась! В милицию десять раз бегала. Нету и нету.

Он осекся, глянул на жену подозрительно. Если она в милицию дорогу проторила, худо дело. Надо получать зарплату, командировочные да северные, и тикать в теплые края. На все это Осип положил дней пять, но, послушав Манефу, решил не медлить.

— А схожу-ка я в баню,— сказал он.

Очумевшая от радости Манефа не поглядела, чем

он набивал баул. А он вместо бани пошел на станцию, сдал баул на хранение и купил самый скорый билет. Ехать ему выпало в два часа тридцать пять минут ночи.

Пришел домой, пригрелся на полатях, заснул. Проснулся, глядит, Манефа стоит возле пиджака, а в руках у нее билет с плацкартой.

— Бежать собрался? — спросила она шепотом.

Врать Осипу было лень.

— В командировку,— сказал он вяло.

— Так я и чуяла...— Она прикрыла рот рукой, чтобы не разбудить мать.— Так и чуяла... Ну, ладно... Обожди... Обожди, антихрист.

Она заметалась, кинула на голову платок, стала совать руки в пальтишко.

Осип спустился с полатей.

— Куда понесло? — спросил он.

— В милицию. Вот куда.

— Ступай, ступай... Только гляди, про крест болтать не советую...

Она застыла на пороге.

— Да, да. Пикнешь про золото, сядешь совместно с родительницей. Кто золото прятал?

— А-а!..— Манефа кинулась на Осипа и легла, скорчившись от удара.

Посадили Осипа примерно через полгода на других местах и по другому делу. Сел он на десять лет за посягательство на жизнь работника милиции. Чуть не год мотался он по этапам и пересылкам. В тюрьме втерся в доверие к бакенщику, досиживавшему срок за браконьерство. Бакенщик был золотушный, с больными ушами. Главная мечта его была — тревога за семью, за любимую дочку, за любимую внучку. Он почти не спал, сторожил, когда вызовут с вещами. Осип вошел в доверие к бакенщику, порвал нижнюю рубаху на бинты, сделал ему тугую повязку на уши, успокаивал, внимательно слушал фамилии, которые выкликают на выход, отпустил бороденку и ждал. Когда вызвали тугоухого бакенщика, отозвался «я!» и выскочил на волю, хотя был лет на десять моложе и на теле его не было наколок.

Не знаю, родную ли он носил фамилию Недоносов или по документам бакенщика. Что же касается Чугуевой — Осип увидел ее впервые у шахты Метростроя. А увидев — учуял, что она чего-то опасается, даже страшится.

Дальше все пошло как по маслу. Он стал пугать ее намекающими взглядами, а она сделалась его бессловесной рабой.

18

Гошина пьеса о метростроевцах перекраивалась и улучшалась всеми, кому попадала в руки. И автор постепенно перестал понимать, драма у него получается или комедия. Зато документальную повесть о Чугуевой приняли к печати и в издательстве и в альманахе и дали так много денег, что Гоша стеснялся сказать, сколько.

Отпраздновать удачу Гоша пригласил Ваську и Тату. А так как Тата наотрез отказалась идти без Мити, позвали и Митю. Для встречи выбрали коммерческий ресторан «Метрополь». Из-за Мити, которого хлопоты комсорга всегда задерживали, собрались поздно — часов в десять вечера.

Тата краем глаза косилась на Чугуеву. Любопытно было поглядеть, как разнорабочая метростроевка ошалеет в ресторанной роскоши. Но ничего особенного не произошло. По гулкому залу она протопала вперевалочку, не глянув ни на подсвеченный фонтан, ни на стеклянный, выгнутый парусом потолок. Хладнокровно пронесла она сквозь хмельные взгляды коммерческих посетителей значок ЗОТ, привинченный к мужскому кургузому пиджаку, и шестнадцать блестящих пуговиц на короткой юбке.

Пока ждали официанта, Гоша развлекал гостей. Он сообщил, что фасад дома, в котором они сидят, украшен художником Врубелем, что над третьим этажом выложена майоликой цитата из Ницше: «Когда построишь дом, то замечаешь, что научился кое-чему»,— и что за несколько дней до революции все это огромное здание купил какой-то сахарозаводчик.

— За сколько? — спросила Тата, чтобы Митя немного поревновал.

— За пятьдесят миллионов...— ответил Гоша мгновенно.

Он рассказал, как здесь засели беляки и как после каждого разрыва снаряда домовладелец постанывал: «Еще пятьдесят тысяч долой, еще пятьдесят тысяч долой».

Посмеялись. Седой официант вручил карту Чугуевой, поклонился и отошел.

Снеди натаскали столько, что места не хватило: семужка, грибочки, шпроты, тостики, два экземпляра очищенной. Пришлось убирать цветы со стола. Гоша предложил выпить за Ваську — свою счастливую звезду. Он вспоминал о пьесе, о том, как Васька вдохновляла его, как в последний момент был придуман гениальный эпиграф: «Гвозди бы делать из этих людей». Слушатели терпеливо держали на весу рюмки. Гоша почувствовал, что пора кончать, крепко зажмурился и выпил. Несмотря на «два экземпляра» и на «семужку», пить молодой писатель еще не наловчился.

Впрочем, из всей пирующей четверки никто не умел бражничать. Поэтому друг от друга старались не отставать.

Прибыли котлеты де-валяй. С укором глядя на рюмку, Гоша произнес тост за Тату. Тата — принципиальный товарищ и верный друг, без ее совета Гоша никогда бы не догадался погрузиться в метро и так никогда бы и не ведал, что в московских подземельях таится Маргарита, в переводе с латинского — «жемчужина». Так бы и строчил никому не нужные терцины, гнался бы за журавлем славы, а синица была бы...

— Кошачья мудрость,— перебил Митя.— Котище потрошит синичку и декламирует: лучше синица в когтях, чем журавль в небе. Не уважаю я старые пословицы. Пока молодые, надо не синиц за хвосты ловить, а вперед пробиваться. А какие мы есть, выяснится лет через сорок — пятьдесят...

Тате нравилось, как Митя сердится. Она готова была слушать его до утра.

— Присесть допустите? — послышалось за ее спиной.

Возле столика стоял Осип, а за ним Мери в мадаполамовой блузке под лаковый ремешок.

Митя мрачно умолк, Чугуева потупилась. Словно молния пронзила Тату. Она поняла: этот неровно стриженный, мелкий спекулянт в парусиновых ботинках и есть тот третий, кто знает про Чугуеву все.

— Пойдем.— Мери дернула его за рукав.— Тут мы вроде не под кадриль.

— Что вы, что вы, товарищи! — захлопотал Гоша.— Митя, подвиньтесь!

— Прекрати,— сказал Митя.

— Не боись,— сказал Осип.— У нас деньги есть.

— Почему ты такой нетерпимый, Митя? — мягко попрекнула Тата.

— А потому, что нечего дерьмо ублажать.

— Перепил, комсорг? — оскалилась Мери.

— Да, да... Мы давно здесь.— Тата подсела к Мите и зашептала: — Успокойся сейчас же! Мы в общественном месте! Это хорошо, что они пришли. Нам все равно не выпить, а они выпьют.

— Выпьем! — обнадежил Осип.— Садись, Маруська. А что он обзывает, не пузырись. Имеет полное право — комсорг. И травма у него. Мартыном его вдарило. Позабыла?

Тата оцепенела.

Осип стал разливать водку.

— Я пить не стану,— сказала Чугуева.

— Не перечь,— усмехнулся Осип.— Гляди, на Машку променяю. Она не хуже тебя уважает это дело... Верно, Маруська?

— Не Маруська, а Мери,— поправила Мери и сбросила его руку с плеча.

— Ты, друг, давай не распускайся,— предупредил Митя.— А то, гляди, стукну. Пломбы из зубов повыскакивают.

— Митя, Митя,— залопотала Тата.— Осип! Что же вы?! У Гоши выходит первая книжка, а вы... Прямо не знаю! Хоть бы поздравили.

Подняли рюмки. Митя провозгласил тост. Захмелевший с первой рюмки Гоша объявил, что следующий очерк

он назовет «Два друга». Напишет про Митю и Осипа... Пришлось пить снова.

— А ты что? — остро глянул Осип на Чугуеву.— Брезгуешь? Ты, мол, ударница, а я серый волк? Пей!

— Не стану.

— Не приставай,— остановила приятеля Мери.— Не хочет, не надо.

— Не боись. Выпьет. Ты, Маруська, плохо ее понимаешь. Посопит маленько, а выпьет.

— Поехал!

— А что, нет? И ты выпьешь. А то гляди. Пошлю вас обеих куда подальше. С Надькой любовь затею.

— Сиди уж! С Надькой, с Надькой! Нужен Надьке такой шелудивый!

— А ты полегше давай! — ржавым голосом протянул Осип.— Бери, Васька, рюмку. Клюкнем на пару. Сделай мне компанию.

— Не стану. С Мери пришел, с Мери и клюкай.

Осип поглядел на нее внимательно, выпил один.

— Пойдем, Митя,— шепнула Тата.

— Подожди,— ответил он.— Не отрывайся от коллектива.

— С Надькой он пойдет! — смеялась Мери.— Шею сперва отскобли, кавалер! Напьется и лежит, ровно подкидыш. У меня плюшку вчерась спер. Вовсе стыда нету. И куда в него влазит!

— Действительно, верно.— Осип налил себе и выпил.— Чем больше жую, тем больше охота...— И поинтересовался между прочим: — А кто мартын кинул, не нашли?

— Нашли не нашли, твое дело десятое,— оборвал Митя.

— Зачем десятое? — Осип поймал ускользавший из-под вилки грибок.— Не по своей же он воле тебе на кумпол свалился? Ктой-то кинул, не иначе. А?

Возникло тягостное молчание. Тата сидела напряженная как тетива.

— Всеми своими успехами в беллетристике,— нарушил молчание Гоша,— я обязан двум девушкам: Тате и Рите. Я их люблю и хочу, чтобы об этом все знали.

Осип поглядел на Чугуеву:

— Чего же ты? Теперича со мной гулять не станешь?

Чугуева была белей полотна.

— Вот беда! Сама дегтем вымазала, а сама серчает... Ну, ладно. Я зла не держу. Пить не можешь, тогда давай пой.

— Здесь не положено.

— Я отвечаю. Пой. Эту давай, «Курку»!

— Знаешь что, друг...— Митя поднялся. Тата вцепилась в его рукав.

— Не связывайся,— посоветовала Мери.— Спой потихоньку.

— Хоть режь, не стану,— мрачно проговорила Чугуева. И вдруг лицо ее оживилось.— Ладно! Давай так: отдашь ТО письмо, спою.

— Ну вот,— закуражился Осип.— Так бы сразу. А то выкобыливается.

— Спою, отдашь?

— Отдам. Куда мне его?

— Не обманешь?

— Как я тебя обману, когда свидетели — вот они. Все тута...— Осип достал из пиджака перевязанную бечевкой пачку.— И письма здесь. Все женихи твои у меня в кармане.

Не сводя жадных глаз с писем, Чугуева глубоко вздохнула и начала:

Эх, курка бычка родила,
Поросеночек яичко снес...

Песня была глупенькая, а всем, кроме Осипа, стало грустно от этой песни.

— Все! — сказала Чугуева.— Давай письмо.

— Обожди. Горячее простынет.

Он придвинул тарелку и принялся за котлету. Сперва съел котлету, обсосал косточку, потом принялся за гарнир. Чугуева не сводила с него глаз, пока он жевал горошек, потом морковку, потом картошку, потом тарталетку из-под горошка. Он зачистил тарелку и бумажную гофрировку с косточки спрятал в карман на память.

— Давай письмо! — тревожно повторила Чугуева.

— Отдам, не сомневайся.— Осип стал копаться в пачке.— Обожди-ка, сперва зачитаю одно для смеха. Гошка!

— Что? — выпучил глаза Гоша.

— Ничего! Проверка слуха.— Водка начала пронимать Осипа. Он принялся острить.— Мери!

— А, я!

— Проверка слуха! Вот я вам сейчас доведу до сведения... Да не ТО, Васька, не боись!

Он вынул листок и бойко, видно, не им первым, начал читать:

— «Маргарита Чугуева! Зачитал в газете статью про твой самоотверженный труд и одобряю. Возмущен, что тебя называют Васькой. Что ты, кот какой или кто? Эта вылазка показывает низкий уровень твоего коллектива. Давно пора тебе выдвигаться на более высший уровень. Был бы я в вашей организации, я бы им указал ихнее место. Буду принимать меры. Двадцатого марта в 19.00 подойди к памятнику Гоголя. Я прибуду туда по делам. Примета: велюровая шляпа на голове. Двадцатого марта пищу не принимай. На дому у меня баранья нога. Подруги жизни не имею. Жму трудовую руку. С.».

— А вам известно, что чужие письма читать непристойно? — не выдержала Тата.— Не только вслух, но и про себя.

— Пускай читает.— Чугуева выпила полную рюмку.— Мне все одно.— И проговорила с угрозой: — Давай, что обещался, слышишь?

— Чего тебе? Невтерпеж? Видишь, ищу. А вот еще хорошее: «Здравствуйте, незнакомая девушка Рита! С горячим морским приветом незнакомый вам Виктор. Во первых строках моего письма прошу извинить меня за непрошеное вторжение. Не будем делать лирических отступлений и бросаться в фантазию, которая не соответствует моряку. Я не имею никаких агрессивных планов, а просто хочу иметь дружескую переписку. Мне хорошо известно, что девушки небезразлично относятся к парням, утверждать этого я не имею права, что бессмысленно и глупо. Вам, конечно, интересно знать, кто я такой, но я не пишу,

потому что, возможно, это будет для вас неинтересно. Если у вас возникнут какие-либо сомнения, пишите, я их постараюсь разъяснить. На этом разрешите закончить свое морское письмо. Крепко жму вашу руку я, то есть Виктор».

— Ой, дура, дура,— качала головой Мери.— Чего же ты моряка упустила?

— Не посмела,— пояснил Осип.— Она ничего не смеет... Позабыла лозунг: «Что посмеешь, то и пожмешь»? Со мной небось посмела?

— Ты шаромыжник,— ответила Чугуева резко.— А он мальчонка еще. Почище найдет.

— Мальчонка, мальчонка! — передразнил Осип.— С бараньей ногой тоже мальчонка? А может, партейный.

— Ну да, партейный! — Мери фыркнула.— Шляпа велюровая! Партейный!

— А я говорю, партейный. Чего такого? Что, партейные к бабам не касаются? Э-э! — Осип всполохнулся.— Хочете загадку? Почему петух песни поет? Кто знает, чарка не в очередь!

Он налил водку, подцепил грибок. Чугуева накрыла рюмку ладонью.

— Ты что? — опешил он.

— Отдавай ТО письмо.

— Прими руку!

— Посулил, отдавай.— Она отчетливо выговаривала каждую буковку.— А то не надейся. Ни на фонтаны, ни на приятницу твою не погляжу.

— Прими руку! — Осип прикрыл глаза.

Она твердо держала руку на рюмке.

Митя медленно поднимался со стула. Осип выудил из пачки склеенный из газеты конверт, бросил на грязную тарелку и снова как ни в чем не бывало развеселился.

— Да, про петуха-то! Много жен — и ни одной тещи! Вот он и поет!

Чугуева так и вцепилась в письмо. В нем было сказано:

«С большим приветом к вам, Маргарита Федотовна! Земляк ваш Клим Степанович! Прослышали мы про вас много прекрасного, желаем вам счастья в личной жизни и труде. Живем — лучше не может быть, копаем котлован для тяжелой промышленности. Кормят по норме. Одно

плохо — чеснока нет, кто его знает, почему. Егор Павлович к старшему брату переехал на постоянное жительство, да и старик собирается. Коли можете достать чеснока, достаньте, сколь можете, принесите пятого июля к томскому поезду, вагон три, проводница Сима. Очень просим вас прислать чеснок, хоть маленько. Сима доставит куда надо. С приветом к вам остаюсь земляк ваш...»

Чугуева прочла один раз, второй, а понять ничего не могла. Рука вроде отцова, и конверт отцом клеен, а писано земляком, которого и не высылали вовсе.

— Я все-таки не понимаю,— настаивала Тата.— Почему твоя корреспонденция оказалась у этого... постороннего лица?

— Да ведь Ваське по десятку на день пишут,— объяснила Мери.— Почта на Надькином столе. Бери кто желает.

А Чугуева, склонившись над остывшей котлетой, читала и читала тетрадный листочек, перечитывала и перечитывала. И постепенно светать стало между строчками.

Сперва она поняла, что Егор Павлович — младший сын высланного Орехова — гармонист Егорка. Потом догадалась, что означало: поехал к старшему брату на постоянное жительство. Помер Егорка. Выходит, встретились деревенские соседи Ореховы и ее отец в сибирском котловане, в вечной мерзлоте. Видно, и отец занедужил. Цинга его скрутила. Не зря чеснок просит. Хоть и хвор отец, а разума не потерял. Пишет не от своего имени, боится, чтобы как-нибудь не повредить дочке. Ему ведь неизвестно, как она его в анкетах обозначила, живым или покойником. Еще поняла Чугуева, что хвалебный очерк о ней он прочитал: конверт скроен из той самой газеты, где напечатаны портрет и Гошино сочинение под названием «Васька». Только страница другая. Умен отец и на разум дочки надеется. Одно непонятно: зачем он за Клима Степаныча укрылся? Клим Степаныч — ярый раскулачник; неужто и его в порядке социальной профилактики? Чудеса! А тятеньке, видно, худо. Надо бы, конечно, чесночку послать, да пятое июля давно прошло, а куда посылать — неизвестно.

Чугуева перечитывала строчки, перешептывала те

самые слова, которые прошептывал отец, когда выводил мокрым химическим карандашом загибающиеся углом строчки, и представлялся он ей не жалким стариком, каким она видела его в последний миг на приболоченном кочкарнике, а железным мужиком на привольном ветру в домотканой рубахе, с тесьмой в волосах, то с топором, то с вилами, то на пути с молотьбы, всего в хоботье. Вон они собрались обедать, у каждого своя миска. Отец в красном углу, умытый, праздничный, протягивает миску: «Черпани-ка, мать, с донышка».

Характер у него был двойной — свирепый и нежный. На работе, если что не так, забить мог до смерти, а пошабашит да умоется — голубок сизый. Сядет, бывало, у ворот на скамеечку, там реку Терешку видать, позовет: «Гляди, дочка, и запоминай. Вот она, красота. Вот она, родина...» Родина и красота были для него одно и то же.

Только что Осип прочитал коллективное письмо дальневосточных пионеров из отряда имени Павлика Морозова. Пионеры извещали, что присвоили имя «Васька» передовому звену отряда и обещали рапортовать ей о своих успехах каждую неделю.

— Безобразие! — возмущался Гоша.— Нет, не безобразие! Мерзость и гнусность!

— Давай активней закусывай! — посоветовал Осип.

— Омерзительная гнусность! Знает, что делаю докуке... домуке...— хмельной язык Гоши плохо слушался,— документальную вещь и скрывать ценные... что там ценные! — уникальные материалы... я на вас в суд подам... На дуэль вызову!

— Ладно тебе мозги пудрить,— сказал Осип.— Пей.

Он налил, поглядел, сколько осталось, и поставил бутылку под стол.

— Много я тебе про отца баяла, дорогой писатель,— Рита вздохнула,— да не всю правду. Грешна я перед тобой.

Гоша поглядел на нее мутным взглядом и спросил:

— Он у помещика батрачил?

— Батрачил.

— Председателем машинного товарищества был?

— Был. Все правда сущая.

— Тогда все в порядке. Отвяжись и... как это... не пудри мозги...

— А все ж таки послушай. У отца в товариществе был большой пай — полтрактора. А платили от пая. И по ведомости нам причиталось много пшеницы... Когда разгоняли товарищество — с отца стали требовать хлеб согласно ведомости... Ты меня слышишь?..

— Слышу, слышу,— сонно пробурчал Гоша.

— Стали требовать, а он половину хлеба не выбирал. Раздавал рабочим — сезонникам. Наложили на нас кратный штраф, а платить нечем. Что делать? Окулачили и лишили нас имущества и всех прав...— Она выпила залпом.— Вот чего я позабыла отметить, товарищ писатель...

— Это нехорошо...— проговорил Гоша, клюя носом.— Нехорошо с твоей стороны, Васька.

— Обожди. Привезли нас в Сибирь, скинули на болото. Лето, а холодно. И гнус. Подозвал нас отец: «Давайте дом ставить. Или за неделю дом ободрим или пропадем». Инструменту на всех — один топор. Бились ужасть как. Куды там метро! Бывалушки, тащу кряжину, да и лягу без памяти. Отец секанет веревкой, обратно тащу... Уделали дом, обомшели, оконопатили. Подошел начальник в кепочке, похвалил. Потом еще раз подошел, похвалил,— Чугуева начала смеяться,— да и постановил: забрать дом под контору... А нам,— странно икая, смеялась она,— гвоздей посулил и стекол: давайте, мол, рубите себе такой же рядышком...

— А ты чего думала! — мелко хихикнул Осип.— Тебе, лишенке, оставят?

— Пойдем, Митя, а? — попросила Тата.— Все ясно!

— Погоди. Интересно. Срубили?

— А куда тут рубить,— продолжала Чугуева.— Тятенька захворал. Дал мне пирог-дерунок да коробок спичек, и пошла я по солнышку от зимы к лету. Шла, христарадничала. Где подадут, где погонят.

— Вот бы тебе тогда велюрову бы шляпу с бараньей бы ногой...— хихикнул Осип.

— Я бы его самого сгрызла вместе со шляпой,— горько усмехнулась Чугуева.— А деревни редко, верст через пятьдесят, и ночевать не пускают. Боятся — соседи

докажут, что лишенку приветили. За это взыскивали! Одна тетенька, правда, пустила. Зашла я, гляжу: осподи, полная проголодь. Детишки, трое, на койке скулят. Не плачут, а скулят, как кутята... Скулят — жутко, а замолчат — еще жутчей. Ворочалась я, ворочалась, растолкала Алену. Бабу-от Аленой звали. Сдай, говорю, Алена, меня в сельсовет. Скажи, мол, лишенку поймала. Им там за отлов бродяжек-от беглых премию давали. Горошку там, рыбку. Повела она меня в сельсовет. За руку уцепилась, чтобы не убегла...— Чугуева засмеялась.— Не передумала бы...

— Несознательная твоя Алена,— подхихикнул Осип.— Сама должна была догадаться. И много за тебя дали?

— Не знаю уж, на сколько потянула.— Чугуева отсмеялась, утерла слезу.— Сдали меня дежурному, повез в район. Снег лежал, в санях ехали. Я-то ночей пять путем не спамши. Погоняй, баю, не то не довезешь. Помру в пути, некрасиво получится. И пала без памяти. Очухалась — лежу в снегу на болотине одна, кругом нет никого.— Она снова засмеялась.— Дежурный, видать, подумал, околела, скинул. Молоденький был, интересный из себя. Глазки как у Ворошилова.

— Не емши, а глазки заметила,— усмехнулся Митя.

— Это ладно... А начальник, что дом у нас отымал, знаете кто?

— Кто?

— А вот он,— и указала на Осипа.

— Ты что? — острое лицо Осипа вытянулось.— Упилась?

— Он нас считал,— продолжала Чугуева,— и на бумагу переписывал. Он и...

— Не больно ей доверяй в данный момент,— перебил Осип.— Пущай проспится! Может, она и правда высланная, чуждый элемент.

— Я-то элемент чуждый? — Чугуева рассердилась.— А кто нас переписывал? Не ты?

— Не я.

— Реку Нюр-Юльку помнишь?

— Сроду не слыхал.

— А Колкынак?

— Когда это было?

— В тридцать первом году.

— В тридцать первом году я работал в укоме комсомола. Справка в отделе кадров.

— Неужто правда?..— Чугуева с тупым недоумением оглядела сидящих в зале людей, будто все они ее обманули.— Неужто обозналась? Неужто все муки зазря?

Осип смотрел на нее с искренним сожалением.

19

Комната Гоши была огромная, холодная и сырая. На нее никто не зарился, и Гоша скрепя сердце переплачивал за излишки жилплощади.

От родительского добра осталось у него жардиньерка да дубовый стул с резной спинкой, да ведерко для охлаждения шампанского. Ведерко было серебряное, с вакхическим барельефом. Его давно бы надо было сдать в комиссионку. Да Гоша стеснялся барельефа. Высокий стул, смахивающий на трон Ивана Грозного, не падал только потому, что был вплотную прислонен к стене, и сидеть на нем умел только хозяин. Когда заходили посторонние, Гоша воровал в коммунальной кухне табуретку.

Спал он на продавленной кушетке. Валик служил подушкой, а макинтош и пледы покойной тетки — одеялами. Постель никогда не прибиралась. И, найдя в куче хлама чувяк или вилку, хозяин искренне удивлялся: «Как она сюда забралась, бестия?»

Он принадлежал к племени сосредоточенных чудаков, которых обожают представлять на театре молодые актеры. Рассеянность почему-то неизменно веселит зрителей, а актеру и невдомек, что главное свойство такого чудака вовсе не рассеянность, а поразительная живучесть и приспособляемость. Запеки его куда-нибудь на вечную мерзлоту, он и там выживет, да, глядишь, еще и добродушный мемуар настрочит.

Гоша не ощущал никакой разницы между пуховой периной и холодным полом. Ему было безразлично, смако-

вать ли у Мартьяныча нэпманский обед из четырех блюд или жевать всухомятку лоскут соленой воблы. Еще в те годы, когда в этой огромной комнате мама угощала членов религиозно-философского общества китайским чаем с сухариками, топка печи казалась Гоше глупой прихотью. Теперь, в одиночестве, он вполне довольствовался вонючим теплом керосинки. Правда, в рождественские морозы он испытывал смутное неудобство, но ему и в голову не приходило разбираться, что это за неудобство. Его одолевали иные думы.

После пира в «Метрополе» Гоша почти сутки провалялся с мокрой тряпкой на голове. У кушетки стояло ведерко, украшенное нагими вакханками, которое давно употреблялось не по прямому назначению. Ножки и подлокотники дубового трона вылезли из пазов и торчали в разные стороны на манер композиции Татлина. Видимо, вернувшись ночью, Гоша присел отдохнуть, но как присел и что после этого произошло, не помнил. Похоже, что он пробовал читать присланные Ваське письма — разномерные листочки валялись на кушетке и на полу.

Вечером пришла Тата.

— Можно у тебя посидеть? — спросила она.

— Ради бога! — Гоша удивился и обрадовался. С весны она почти не бывала у него.

Пока он прятал ведерко и подбирал письма, она молчала. Это было непривычно. Обыкновенно она начинала тараторить еще на лестничной клетке. Гоше показалось, что она сильно похудела и подурнела. Тянулись минуты. Молчание, да еще в сумерках, становилось тягостным. Он поднялся к выключателю, но Тата попросила не зажигать света.

— Мне плохо, Гоша,— сказала она.

— Мне самому плохо! — подхватил он.— Видишь ли, Тата, любое дело требует тренировки. Напрасно я изображал гусара. «Пьешь вино — думай о последствиях». Это не я. Это Фирдоуси.

— Ты недослушал,— проговорила Тата спокойно,— мне не от вина плохо.

— А что? С Платоновым поссорились?

— Поссорились. Навсегда.

— Какой ужас! — сказал Гоша с удовольствием.— Навсегда?

— Навсегда,— повторила Тата твердо.— И дело не в том, что он способен пожертвовать мной ради какой-то Чугуевой. Дело совсем не в том. Я гордилась собой, гордилась тем, что я человек... А он... он обокрал меня.

— Обокрал? Комсорг? Этого еще не хватало!

— Да нет. Ты не так понял. Душу мою обокрал. Растоптал чувство человеческого достоинства. Многое я ему прощала, но этого не прощу никогда.

— За человеческое достоинство не беспокойся,— сказал Гоша.— Это, пожалуй, единственное, что невозможно ни украсть, ни уничтожить. Когда терпишь унижения, чувство достоинства закаляется, становится, как бы тебе сказать, грозней, продуктивней. Как меня унижали, Тата! С самого детства! Со школы! И за что? За то, что я первым решал примеры, за то, что писал без ошибок... Ты не представляешь, каким мучением были для меня переменки! Я забивался в самые дальние углы, меня выволакивали и потешались — играли в меня, как в мячик. Я приходил домой бледный, оборванный. Мама ужасалась, прикладывала ко лбу руку. И все-таки, Тата, если бы я не окунулся в эту горькую купель, из меня бы ничего не вышло. Чем больше меня мучили, чем больше издевались, тем больше во мне зрела мстительная уверенность, именно зрела сама по себе, помимо воли и желания, что придет время, и я докажу, что я лучше всех! Чем я лучше и как докажу, я еще не знал, конечно, но в моей душе все туже и туже завинчивалась пружина...

— У меня трагедия, а ты про пружины,— вздохнула Тата.— С тобой очень трудно беседовать. Ты постоянно занят своей персоной. Пружины, пружины! А ты понимаешь, что такое духовное одиночество? Человека любишь, обожаешь, и вдруг в один прекрасный момент обнаруживается, что он не понимает тебя и не понимал никогда, что мы друг другу бесконечно чужие... Это же смешно — я, рядовая комсомолка, должна учить комсорга шахты простейшим истинам!.. Должна ему доказывать, что никто из нас не имеет права лгать! Справедливость и

правда — коренные свойства нашего народа. Потому-то мы и совершили революцию первыми. Ведь правда, Гоша?

— Конечно! — подхватил Гоша.— Помнишь, у Горького: я вижу наш народ удивительно, фантастически талантливым. А что такое талант? Подожди, не сбивай. Рождается мысль. Талант — это прежде всего мужество быть правдивым. Мужество видеть правду, говорить правду и действовать по правде. Нельзя, чтоб страх повелевал уму, Тата! Это опять не я, это Дант. И тренировка таланта начинается с оценки себя, с самокритики. Да, да, с самокритики, я не боюсь этого слова. Только правдиво оценивая себя, можно подняться до справедливого суда над другими. Возьми мелочь: я написал очерк. Очерк напечатали, хвалят. А я знаю, что очерк плохой, слишком, как бы тебе сказать, умышленный. Когда я стал понимать это, во мне проклюнулся талант. И теперь, если я напишу страничку на «отлично», понимаешь, Тата, объективно на «отлично», на душе такое блаженство, будто взял мибемоль в арии Виолетты. Так и хочется крикнуть: «Ай да Гоша, ай да сукин сын!» Еще тогда, в школе, я предчувствовал, что пружина начнет действовать. Нужен был первый толчок. И знаешь, кто был этим толчком?

— Кто? — спросила Тата бесчувственно. Она плохо слушала и раскаивалась, что пришла.

— Ты. Вот кто.— Голос его дрогнул.— У Шаляпина где-то есть пошловатое признание: все хорошее он совершал ради женщин. А я все, что делал, и все, что сделаю до конца своих дней, буду делать не для женщин, а для одной женщины. Для тебя, Тата.

Она посмотрела на него с испугом.

— Да, да! И я говорю это тебе только теперь, потому что прежде мечтать о тебе было бы нелепо. Помнишь, кот и тот убежал от меня. А сейчас смотри! — Гоша зажег свет, схватил с подоконника запечатанные лиловыми буквами страницы папиросной бумаги.— Вот оно, мое будущее! Ничего подобного в документальной прозе еще не было со времен Глеба Успенского! Я не бахвалюсь, это в горкоме писателей говорят! Книгу выпускают молнией! Обложку поручили Кинарскому, понимаешь? Художнику, который оформляет исключительно классиков: Бальзака, Фенимора

Купера... Кинарский уже набросал эскизы, и меня приглашают выбрать. Надо идти, а я в таком состоянии...— Он отошел в дальний угол, сделал свирепое лицо и спросил: — Ты выйдешь за меня замуж?

Тата встала.

— Выйдешь?

— Какой ты смешной, Гоша,— сказала она печально.— Смешной и глупый.

— Молчи, молчи. Скажи только одно: ты его любишь?

— Я его ненавижу.

— Молчи, ясно... Любишь. Что у вас случилось?

— Ничего особенного. Я поставила ультиматум: если он будет скрывать прошлое Чугуевой, я буду сигнализировать. И представляешь, что он ответил: «А тогда я буду сигнализировать твоей мамочке, что мы с тобой...» — и так далее, по-хулигански, как когда-то на бульваре. Представляешь? Я хлопочу ради его пользы, а он спекулирует на том, что у мамы грудная жаба и ее нельзя волновать.

— Жаба? — покачал головой Гоша.— Какая неприятность... Минуточку! Что значит — скрывать прошлое Чугуевой? Какое прошлое?

— Во-первых, что она дочь кулака, во-вторых, что она беглая лишенка, в-третьих...

— Опомнись! — завопил он.— Кто это выдумал?

— Это правда. Об этом она рассказывала тебе в ресторане.

— Шутишь, Тата? — Он подошел, внимательно посмотрел в ее серые печальные глаза.— Шутишь. Не желаешь, чтобы я приставал к тебе с глупостями. Не буду...

Он сдвинул гору тряпья, сел на кушетку, нашел под собой сухарь и стал машинально грызть его.

— Я тебя вижу насквозь, Тата. Тебе не идут дамские уловки. Я ни на чем не настаиваю. Ты меня, наверное, не поняла, если считаешь, что я на чем-то настаиваю. Мне надо, чтобы ты знала: ты для меня единственная женщина в мире. И все. И можешь поступать, как тебе угодно.

Он стал осматриваться по-собачьи, куда подевался сухарь, понял, что доел, и продолжал:

— Я понимаю, у тебя неприятности. С Платоновым

разрыв. У мамы — жаба. А тут еще жених непротрезвевший. Действительно, комично.

Тата подошла к нему, села рядом.

— Не сердись,— сказала она.— Я считала обязанной предупредить тебя. Ведь ты о Чугуевой книгу пишешь. Слушай же внимательно и не перебивай.

Она обстоятельно растолковала все, что узнала от Мити и от самой Чугуевой, и об опасности, которую Чугуева собой представляет. Рассказ ее подействовал на Гошу примерно так же, как вчерашняя выпивка. Он положил рукопись на подоконник и долго перелистывал страницы от начала до конца и от конца к началу.

— Не может быть! — сказал он наконец.— В моем труде ничего этого нет. Как ты говоришь? Дочь кулака?

— Да, Гоша.

— Последний день Помпеи! Сбежала с поселения? Да как же она посмела?..

— Худо, наверное, там было. Не одна она бежала. На метро свыше двух тысяч чужаков выловили.

— Да как же она посмела от меня скрывать такое безобразие?! Она же знала, что я книгу пишу, пьесу и так далее. Она была у меня раз пять или шесть даже. Я ее чаем поил... Ей известно, что я заявление в Союз писателей подал... Что она, с ума спятила?

Он пошагал по комнате, остановился внезапно.

— Ты понимаешь, что со мной будет? Рукопись заслана в набор.

— А мне кажется, выход есть,— сказала Тата.— Замени фамилии и преврати документальную повесть в придуманный роман.

— Чудесно! — закричал Гоша злобно.— У меня голая правда, документ. А ты предлагаешь мне превратиться в тупейного художника, начинать абзац словом «вызвездило»! Договориться с персонажами, как в цирке-шапито, кто кого положит на лопатки? Не могу. С искусством надо обращаться на «вы», Тата.— Он пошагал еще немного, подумал и тихо закончил: — Представляешь, какая это египетская работа? Все заново! Да как она посмела, негодница!

— По-моему, Гоша, отчаиваться рано. У тебя готовится пьеса...

— Какая пьеса?! Какая может быть пьеса?! Пьесу держат, ждут выхода повести!.. А ведь как все удачно складывалось. Тираж, интервью, пьеса во МХАТе, Кинарский... В какой карман руку ни сунешь, всюду тридцатки... Уходи, Тата. И никогда не приходи больше. Я родился под злой звездой. Тебе ни к чему вовлекаться в орбиту моих несчастий.

— Не впадай в панику,— остановила его Тата.— И не делай, пожалуйста, из мухи слона. Работа займет немного времени. Если хочешь, я помогу тебе. Хоть я и «ничевоха», по мнению некоторых выскочек, но помочь сумею. Буду переписывать. Вычеркивать «вызвездило».

— Правда?

— Конечно, Гоша. Охотно.

— А что! Чем черт не шутит. А вдруг что-нибудь и получится.

Он сел рядом. Сперва она не заметила, что он обнимает ее, потом вышла из задумчивости и отстранилась. Это его не обескуражило. Радужное настроение вернулось к нему.

— Ты спускалась в шахту? Нет? Напрасно. Там, под землей, весело! Что ни говори, а замечательная стройка пятилетки: бегают вагонетки, шумят насосы, отбойные молотки перебивают друг друга, как Бобчинский и...— Он вдруг вскочил, пораженный внезапной мыслью.— Постой! Да ведь на днях в «Огоньке» и в «Литературке» идет мое интервью. Там фамилия названа. После съезда писателей газетчики накинулись на меня, как шакалы. Ведь у меня то самое, к чему призывал Горький: главный герой — труд и человек, организуемый процессом труда! Я всем и каждому хвастал, что моя героиня живет среди нас и фамилия ее Чугуева... А злосчастный очерк «Васька»! Нет, ее не замаскируешь! Она сама в «Вечерке» хвалилась, что про нее повесть пишут... Что теперь будет, просто не представляю! Как я покажусь на глаза Кинарскому? О-о-о! — застонал он.

— А если действие вообще будет происходить не в Москве? Не в метро, а там где-нибудь...

— Где? — разозлился Гоша.— В Таити? Вдали от

событий? Благодарю. Такие романы пускай крученые пишут.

— Не дерзи и не малодушничай,— одернула его Тата.— Если бы я была писатель, я бы знала, что делать.

— Что? Что?

— Бесстрашно смотреть правде в глаза и писать все, что тебе известно.

— Да ты что?..

— А что? Ты же сам только что Данта цитировал.

— При чем тут Дант? Я в Союз заявление подал!

— Вот и хорошо. Поставь в повести вопрос о двурушниках. Покажи Чугуеву с обеих сторон. В лицевой — отличная работница, а с изнанки — вредитель, который помимо своей воли разложил не только Осипа, но и комсорга.

— Да ты что! Да за такую постановку вопроса знаешь, какую отбивную котлету из меня сделают! Повесть идет точно по горьковской колее, а ты переворачиваешь ее вверх колесами...— Он подумал.— Послушай, Тата, а что, если принять безумное решение? Что, если оставить все так, как есть? Чугуева работает на метро почти год. Ударница. Значкистка похода Кагановича и ЗОТа. Осип и Платонов молчат. Так в чем же дело?

— Ты забыл обо мне.

— Ах, да! Ты собираешься донести на нее?

— Не донести, а разоблачить.

— Хорошо, пусть разоблачить. И тебе не жалко ее? Судя по твоему рассказу, Васька не ведала, что творила, и когда бежала с высылки, и когда бросала мартын. Да и вообще, почему я должен верить ее болтовне? Она была пьяна, пела «Курку», мало ли что ей взбредет в голову.

— Послушай, Гоша, неужели ты не обратил внимания на ее глаза? А ее рабское подчинение Осипу, эта жалкая «Курка»... Отчего это? Работает исступленно, лезет в передовики. Почему? Ты собираешься быть инженером человеческих душ, разве ты не обязан спросить себя: почему?

— Я знаю одно: если ты скажешь про Ваську, Метрострой лишится отличной работницы.

— Значит, и ты хочешь, чтобы я смолчала? Ну Митя — понятно, ладно. Он комсорг шахты. Он кровно

заинтересован, чтобы Чугуева «вкалывала», как он выражается, и выполняла на двести процентов нормы. А ты в чем заинтересован? Денежки получить? А истину куда? В карман спрятать?

— А известно ли тебе, Таточка, что истины бывают двух сортов — привычные и непривычные? Привычные приятны, потому что их уже знают и хотят повторять, и повторять, и повторять. Привычным истинам бурно аплодируют, за привычные истины платят высокие гонорары. А вот с непривычной истиной следует обращаться осмотрительно и, как бы тебе сказать, аккуратно. Известен ли тебе Карл Фридрих Гаусс, великий немец, которого называют королем математиков? Гауссу внезапно открылась истина, имеющая отношение не только к судьбам нашей грешной земли, а ко всем мирам, ко всей вселенной. Он увидел неевклидову метрику вселенной. Увидел и смолчал. Смолчал, потому что боялся насмешек. А уж после него ту же непривычную истину открыл венгр Бойяи и наш Лобачевский.

— Но они не смолчали,— тихо возразила Тата.

— Не смолчали. Но мудро ли они поступили, это еще вопрос. Бойяи свели с ума, Лобачевского затравили. Недаром предупреждал Дант:

Мы истину, похожую на ложь,
Должны хранить сомкнутыми устами,
Иначе срам безвинно наживешь.

— Твой Дант подсказывает все, что тебе нужно в данную минуту. А сам ты, не Дант, не Гаусс, а ты, Гоша Успенский, как думаешь — честно или нечестно прикрывать от закона беглую лишенку?

— Постановка вопроса слишком, как бы тебе сказать, лобовая. Пойми главное: теперь, в данный момент, лишенки не существует. Тебя тревожит свет далекой, потухшей звезды. Понимаешь? Звезды уже нет, она сгорела, а свет ее только-только дошел до тебя. Свет этот иллюзия. А ударница Чугуева, строитель метро, да такой строитель, которого товарищи наградили мужским именем Васька,— это не иллюзия! Это большая, настоящая правда. Ее работу можно не только увидеть, но осязать:

пощупай опалубку, филат, бетонный свод. Вот я и писал, как душа Васьки навсегда, навеки застывает в бетонном своде метро.

— Подожди, Гоша.— Тата взялась за ручку двери.— Скажи честно, о ком ты заботишься? О Чугуевой или о себе?

— Что за вопрос! Конечно, о Чугуевой! Книга выйдет, произведет впечатление, и все остальное отступит на задний план. Чугуева станет любимицей публики, и никому не придет в голову копаться в ее прошлом. Вот у тебя глаза снова стали какие-то, как бы тебе сказать, прошлогодние. Я обидел тебя?

— Нет.

— Ну, слава богу!

— Я не верю в бога. Но мне очень жалко, что его нет. До свидания.

Тата ушла. И лучше бы она не приходила. Гоша очень расстроился. Его тревожили не только судьба повести и сорвавшееся сватовство. Была еще какая-то причина, которую он никак не мог уловить и оформить словом.

Он взял одно из адресованных Ваське писем и, чтобы отвлечься, стал читать:

«Уважаемая гражданка Маргарита Чугуева-Васька!

Прочитал про ваши достижения и решил вам написать. Чем вы занимаетесь в свободное время? Я только и знаю, что хожу в кино и пишу письма. Писал Зое Федоровой, Мариэтте Шагинян, Паше Ангелиной, Демьяну Бедному и еще кому-то на букву Р. Позабыл. Никто пока не отвечает. Хотел написать Максиму Горькому, да боюсь — продернет за ошибки. Я сын учительницы обществоведения. Мама знает наизусть, когда жил Пугачев, Халтурин, когда был какой съезд и прочую муру. У нас весна вступает в свои права. Тает снег. В мае, наверное, тоже будет хорошая погода. А в июне будет еще теплей, чем в мае. Зимой у меня ничего особенного не произошло, кроме того, что я вывихнул руку. А в общем, все хорошо, прекрасная маркиза. Шучу. Ну, страница вышла, подходит время кончать. Да здравствует Красная Армия и ее вождь товарищ Ворошилов! Посылаю свою фотку — такая, как на комсомольском билете».

На душе у Гоши стало еще тошней. Ему почудилось, что у него тоже вывихнута рука. Стараясь отвлечься от мрачных аналогий, он сунул письмо обратно в конверт и принялся чинить стул.

20

Визит к молодому литератору произвел на Тату неожиданное действие. Она решила мириться с Митей.

Они бы помирились и без этого, может быть, немного позже, но помирились бы. Они уже не управляли собой. Тата с ужасом поняла, что любит рыжего комсорга сильнее, чем прежде. А его каждую минуту тянуло к телефону. Он не мог без нее и злился на себя. Оба они оказались в положении ребятишек, которые забрались в гоночный автомобиль, пустили его на полный ход и поняли, что не умеют остановить.

Через пятидневку на Тверском бульваре состоялась встреча. Оба держались натянуто, почти официально. Тата заявила, что после длительных размышлений пришла к выводу, что она не права. Достаточно того, что она предупредила Митю о Чугуевой как комсорга шахты. Этим она выполнила свой долг. Митя сказал, что не прав он. В настойчивости Таты проявилась похвальная комсомольская принципиальность. Еще он сказал, что Первый Прораб его помнит и ценит. Ему стало известно, что в отдельную палату его перевели по личному указанию Первого Прораба. И он решил, как только Первый Прораб вернется из Сибири с хлебозаготовок, пробиться к нему и принять вину на себя: Чугуева давно желала чистосердечно раскаяться, а он, комсорг шахты Дмитрий Платонов, запрещал ей это, чтобы не снижать темпы проходки.

Митя был уверен, что его откровенность найдет понимание, ударница будет помилована и вопрос будет исчерпан.

— Глупее ничего не придумал? — Тата вскинула на него умные серые глаза.— И ей не поможешь, и себя поставишь под удар.

Они заспорили, но мягко, опасаясь поругаться снова.

В конце концов было решено: все, что Митя собирается доказать Первому Прорабу, будет изложено в виде формального документа. К документу будут приложены характеристика Чугуевой за подписью комсорга (такая характеристика четырехмесячной давности имелась в делах, оставалось уговорить Надю сделать копию) и письмо бывшего начальника шахты Лободы.

Они вместе позвонили Лободе на квартиру, узнали, когда у него выходной, и через два дня Митя стоял возле двери, обитой малиновой галошной подкладкой.

Подход к опальному начальнику Митя обдумал тщательно. Он явился без телефонного звонка, как снег на голову, с фотографиями, давным-давно сделанными Гошей: Лобода в забое, Лобода с комсомольцами, Лобода смотрит в окуляр теодолита.

У бывшего начальника было две отрады: париться и фотографироваться. И он часто мечтал о блаженных временах, когда можно будет ограничиться только этими двумя занятиями.

Митя стучал дважды.

За дверью таилась гробовая тишина.

На Лободу было непохоже, чтобы он ходил в гости, да еще совместно с семейством. Не достучавшись, Митя спустился на марш, примостился на подоконнике и стал читать сочинение Герберта Уэллса «Человек-невидимка». Минут через десять загремело железо запоров. На площадку вышла девчонка лет двенадцати с лежачими ушками, вылитый Лобода, с белобрысыми косичками. Старушечий голос тихонько напутствовал:

— Смотри, сдачу пересчитай... Пятнадцать копеек принеси... Пересчитай, смотри... Копеечки не хватит — загрызет...

Митя придержал дверь ногой и спросил Федора Ефимовича.

— А вы откуда сами будете? — прошептала старуха.

— С метро,— Митя тоже перешел на шепот.— А Федор Ефимович что? Хворает?

— Федор Ефимович с бани,— пояснила старуха.— Чай кушает. К ним нельзя.

— Мне, мать, вот так его надо! — Митя провел рукой по горлу.

— На что?

— По делу.

— Да он в метро уже не служит.

— Неважно. Ему премия положена. Расписаться надо.

— Фамилие ваше как?

— Платонов.

Дверь захлопнулась. Ключ щелкнул дважды. Лязгнула задвижка, загремел засов.

Митя осмотрел остатки электрического звонка, фанерный почтовый ящик, щедро окрашенный популярной на Метрострое кубовой краской, прочитал номер квартиры, обозначенный мелом на малиновой обивке, постучал снова.

Старуха будто того и ждала. Сразу открыла.

— Чего вам?

— Я к Федору Ефимовичу.

— Не велено беспокоить.

— Вы фамилию-то сказали? Платонов.

— Сказала. Оне не знают таких.

— Как не знает? Комсорг шахты Платонов.

— Где?

— Да вот он. Я.

— Не знают таких. Сказано, нет?

— Вот это ловко!

— Да чего ловчей. Пусти ногу, фулюган!

— И ты, мать, прекрати волокиту. Скажи, Платонов принес фотографии. Срочно давай, одна нога здесь, другая там.

И опять: ключ, крюк, задвижка, словно замыкали несгораемый шкаф.

Митя вернулся на подоконник, прочитал главу «Взбесившаяся мебель», начал следующую — «Незнакомец разоблачается» и насторожился.

Тихонько, словно мышка, прижимая к животу «Вечерку», поднималась белобрысая девочка.

Митя начал было выбирать самый благопристойный способ использования выгодной ситуации, но было поздно. Прежде чем способ был выбран, сработал условный рефлекс, и комсорг, сам не понимая как, очутился пред

очами Федора Ефимовича Лободы. А в прихожей причитала старуха и выгрохатывал последние остатки железного грома эмалированный таз, сбитый с сундука вместе с березовым веником.

Хозяин сидел за круглым столом в просторной косоворотке, застегнутой на половину вышитого столбца, и пил чай с вишневым вареньем.

— А-а-а! — пропел Лобода.— Гость дорогой! Зашел все ж таки, не побрезговал! — Он обтер губы утиральником, обнял Митю и прослезился.

— А бабка сказала, вы таких не знаете,— смутился Митя.

— Во-первых, она не бабка, а супруга, Настасья Даниловна, знакомься. У нас еще внуков нету, рано ее бабкой величать. А эта, меньшая, Марэла — в честь основоположников. Старшая еще есть, Фирка. Та дореволюционного производства... Чего же ты, крыса старая,— ласково обратился он к жене,— фамилию перепутала? Как ты назвала-то его?

— Платонов. Он меня с ног сшиб, фулюган.

— Платонов, Платонов...— Лобода рассердился.— Надо было доложить — комсорг 41-бис шахты и так далее. А ты — Платонов... Платонов, Платонов. Ступай отсюдова!

Настасья Даниловна пихнула дочку в соседнюю комнату, нырнула за ней, и дверь захлопнулась.

Не теряя времени, Митя стал показывать снимки по очереди.

— Ты на нее не серчай,— сказал Лобода.— Она у меня с совещательным голосом.

Бывший начальник попивал чаек из блюдечка и любовался собой по второму разу. Расчеты Мити оправдывались. Можно заговаривать о Чугуевой.

— Как на шахте? — спросил Лобода.

— Откровенно сказать, после вас все наперекосяк.

— Да ты что! — Лобода выкатил глаза, но все-таки ухмыльнулся.— Подумай, кого хаешь! Новый-то — инженер! Его Сам прислал, лично.

— Мало что! Горяч больно, хоть и инженер. Тороплив.

— Тороплив?

— Тороплив. При вас готовились плывун замораживать, помните? Еще не проморозили как следует, а он: давай копать — и все тут! В результате — потоп.

— Потоп?

— Законный. Воду бадьями отливали. Мучились от темнадцати до темнадцати. В результате — прорыв.

— Прорыв? — спросил Лобода, с удовольствием закусывая вареньем.

— Полный прорыв, Федор Ефимович. Копаешься, а тебе за шиворот калийный рассол льется. Весь в струпьях ходил. Сейчас еще свербит...

— Вот он и инженер! — вздыхал Лобода.— Вот оно и высшее техническое.

— А с бетоном вовсе разладилось,— продолжал Митя.— То замазку гонят, а то жидкий, хоть блины пеки. Ребята каждую минуту вас поминают, Федор Ефимович. Вот, говорят, был руководитель так руководитель.

— Ладно тебе. Кто говорит хоть?

— Все говорят. В основном, конечно, рабочий класс. Андрушенко говорит. Круглов Петька. Машка Золотилова.

— Мери?

— Она. Портупеев. Чугуева. Да вот, кстати, Чугуевато...

— Еще кто говорит?

— Семенов говорил. Хусаинов, камеронщик. Борька Заломов. Чугуева.

— Чугуеву ты поминал. Дальше.

— Борька, Заломов. Гошка Аш... Все жалеют. И Николай Николаевич тоже. А Чугуева...

— Про богдыхана не поминал?

— Кто?

— Николай Николаевич. Про богдыхана китайского, случаем, не поминал?

— Нет. Вот, говорит, был начальник так начальник. Придет и сядет в кресло. Не то что нынешний.

— А новый бегает?

— Из-под земли не вылазит. Ребята говорят, Федор Ефимович не такой был.

— Небось костерят, что план требовал?

— План стребует, а в обиду, говорят, не даст.

— Это верно.— Лобода отпил из блюдечка, закусил вареньем.— Поминают небось, как работал с человеческим материалом?

— А как же! Каждый день поминают. С человеческим материалом Федор Ефимович работал. Дирижаблестроение освещал... Я, по правде сказать, плакал в больнице, когда узнал, что вас нету.

— Врешь ты все, рыжий черт! — Лобода промакнул утиральником слезу.— Настасья!

Дверь распахнулась.

— Подай комсоргу чашку. И для варенья розетку. Так. Дочерей позови и сама садись.

Явились две дочери: Марэла и старшая, лет двадцати, тоже похожая на отца.

— Вот это,— Лобода показал пальцем на Митю,— комсорг моей шахты. Садитесь, слушайте. Значит, жалеют меня? Ну?

— Жалеют, Федор Ефимович.

— Кто да кто?

— Чугуева, Круглов Петька, Машка Золотилова...

— Мери?

— Она. Портупеев, Хусаинов, камеронщик, Заломов...

— Гошка Аш,— добавил Лобода.— Вот они, какие дела. Слыхали? — обратился он к молчаливому семейству и пояснил Мите: — Они молчат, а про себя рады без памяти. Я ихние мысли как по минеям читаю: «На подсобном участке не больно-то станет главного корчить». Мечтают, что я им оттудова капусту таскать стану... Шиш я вам капусту стану таскать! Ну, чего вылупились?

Дочери, будто по команде, вместе с матерью скрылись за дверью.

— Я ее,— кивнул на дверь Лобода,— вдовицей еще в царское время засватал. Домик у ней свой был, садик свой в Териоках. В революцию привез ее в Питер, пропал домик, вот она зубами и скрипит... Нету на земле правды, комсорг... Я им с Юденичем воевал, я им эскадроном командовал, я им колхозы подымал, а они чем отблагодарили? Партийным взысканием. Вот он я, командир эскадрона в 25-м году.

В углу зеркала торчала карточка: бравый командир стоит в стременах на вороной лошадке добрых кровей, тянет трензеля.

— С эскадрона меня сам Буденный снимал. Буде-е-енный, не кто-нибудь! Или, к примеру, колхозное строительство. Погонял я их два года, а на третье лето не осталось в колхозе тележных колес. На двадцать лошадей три хода. Чинить — кузнецов нету, раскулачили. А тут сенокос. Что делать? Велел запрягать лошадей в сани. Сняли меня оттудова, велели объяснение писать. Я не обижаюсь. И на Буденного не обижаюсь. А тут что? Прихожу на работу, а на моем кресле инженер сидит. А мне заместо спасибо — выговор за притупление большевистской бдительности. Чужаков, мол, на шахте много. («Худо дело»,— подумал Митя.) А я тут с какого бока? Я чужаков набирал? Их мне с управления пригоняли. Ежели бы я сам кадры подбирал, ко мне бы ни один сырой элемент не пробрался. («Вовсе худо»,— подумал Митя.) А я тебе скажу, комсорг, на свой вологодский салтык, не все чужаки, которых чужаками записывают. Тут у нас крутой перегиб.

— Вот это верно! — Митя аж на стуле подпрыгнул.— Правильно! У нас, например, Чугуева...

— Я не кончил. Я тебе не московский, я коренной питерский пролетарий. Я своими ушами Ильича слушал... Наша вся деревня сроду в Питер бегла, в лакеи определялась. И я тоже. На Невском в ресторане служил. Хозяин кабинеты доверял. Я им десертную ложку горчицы выкушивал не жмурившись. Дамы без памяти падали... Вон я какой был громобой.

Лобода показал пальцем. У трубы граммофона висел желтый дагерротип: остолбенелый официант, на руке салфетка, на маленьком лбу чубчик, уложенный на манер параграфа.

— В Питере в аккурат после переворота Ильича слушал. Какие установки делал Ильич про чужаков? Ежели, говорит, помещик — учти, не мелкота какая-нибудь, не кулачки да подкулачники, матерый помещик! — ежели, говорит, помещик не вредный и в хозяйстве разбирается, то в коммуну его пускать не только можно, но и должно. А время было не нынешнее, погорячей.

— Это Ленин говорил? — Митя весь потянулся к Лободе.— Где? Когда?

— Году в девятнадцатом, в двадцатом. Вот так вот. А нынешние...

— Поточнее, Федор Ефимович. Когда, а?

— На Петросовете. Ильич на вопросы отвечал.

— Это же в сочинениях должно быть. У вас нет сочинений Ленина?

— У меня только Маркс и Энгельс. «Немецкая идеология». Премия на Первый май. А ты что? Не веришь?

— Верю, верю! Вот у нас, например, Чугуева. Работает отлично, в ударники провели, а оказалось — лишенка.

— Еще не хватало.— Лобода нахмурился.— Какая Чугуева?

— Наша Чугуева, Васька.

Лобода хлебнул чайку, утер губы и проговорил:

— Такой не помню.

— Да как же! Первому Прорабу еще просьбу подавала!

— Не знаю, не знаю... Не знаю... Лишенка, говоришь?

— Лишенка. Беглая со спецвысылки.

— Не знаю... Не знаю, не знаю, не знаю.

— Знаете. Вы велели мне ее с гравиемойки взять. В мою бригаду.

Лобода вздохнул, налил себе новую чашку.

— Условия велели создавать.

Лобода добавил варенья.

— К физкультуре подключать.

— Давай активней закусывай,— посоветовал Лобода.— Шут с ней.

— Как же, Федор Ефимович? Золотая работница.

— У тебя какие предложения?

— У меня конкретные предложения. Я написал Первому Прорабу, чтобы он посодействовал. Вот.

Федор Ефимович стал читать бумагу, по обыкновению, с середины.

— У меня на Первого Прораба твердая надежда,— говорит Митя.— Такой человек поймет. А с вашим авторитетным мнением — и сомневаться нечего...

— С чего это ты его захваливаешь?

— А как же? — Митя опешил.— Вы сами говорили — самородок.

— Самородок, самородок...— Лобода почитал, поглядел, что на другой стороне. Другая сторона была чистая.— Надя печатала?

— Надя. Упросил.

— Самородок, самородок... У кого власть, тот и самородок. Ему что! Машин не хватает — пожалуйста! Нету изоляции, опять же: немедленно предоставить мильон метров галошной подкладки[1].— Он снова стал читать бумагу.— «Самоотверженная», «инициативная». Вот как ты ее разукрасил. Картинка, а не лишенка. Кто она тебе?

— Она мне ударница Метростроя,— отчеканил Митя.

— Может, родня?

— Какая родня? Она с Волги, а я с Оренбурга.

— Жил ты с ней, что ли?

— Что вы, Федор Ефимович!

— Чего же ты хлопочешь? Какой тебе-то плюс? Недопонимаю.

— Вот посмотрите. Васька подала новому начальнику шахты заявление. Все написала: кто она такая, как бежала с высылки, как хотела меня угробить. Вот ее цидуля.— Митя достал бланки нарядов, коряво исписанные химическим карандашом.— Начинается так: «Меня Платонов затягивает в комсомол, а я недостойная...» А дальше начальник читать не стал и переслал мне с резолюцией: «Разобраться и доложить».

— Ну и что ты доложил?

— Я не докладывал. Я написал подробное объяснение Первому Прорабу. И вас прошу подтвердить письменно. Чугуева на ваших глазах стала ударницей.

— Подтвердить можно.— Лобода встал из-за стола.— Подтвердить, товарищ комсорг, все можно. Ежели бы я сейчас сидел начальником шахты, может быть, я за нее и заступился. А теперь какой мне расчет? Меня на подсобное

---

[1] Обиженный Федор Ефимович немного преувеличил. В действительности для изготовления изоляции метрополитена было использовано 150 тысяч метров галошной подкладочной ткани (см: «Рассказы строителей метро», М., 1935, с. 472). *(Примеч. авт.)*

хозяйство бросили, чуть не в сторожа! Ты как считаешь, для пользы дела меня с шахты поперли?

— Не знаю, Федор Ефимович,— ответил Митя.— Думаю, неправильно.

— Неправильно? — протянул Лобода.— Так чего же ты за меня-то не заступишься? На какую-то разнорабочую лишенку длинные словеса расходуешь, по Москве бегаешь, Настасью Даниловну сшибаешь, а за своего родного руководителя вякнуть не смеешь. А пла-а-акал! Как это расценивать? Что, тебе лишенка дороже начальника шахты?

Митя молча сложил бумагу вчетверо и спрятал в карман.

— Не серчай.— Лобода взял его под локоть и убавил голос: — Я не попрекаю. Я спрашиваю. Теоретически я не больно подкованный. «Немецкую идеологию» с карандашом читал, а в голове застряло одно: как две кошки съели друг дружку начисто, остались одни хвосты. Вот и вся идеология.— Он вздохнул.— Может, я чего на производстве проглядел, как думаешь? Может, работа с людьми хромала? Скажи, не бойся. Мне легше будет. Может, и правда я там... навроде богдыхана...

— Что с вами, Федор Ефимович?! — Митя совсем смутился.— Спасибо вам большое за ленинскую цитату. Я сегодня в ночную...

— Ступай, ступай. С Чугуевой не связывайся. Шею сломишь.

Он проводил Митю, заперся на все замки и задумался: «Этот тоже меня за богдыхана считает. Думает, сошлется на Ильича — и кум королю. Зелен еще!»

А Митя ехал в трамвае на сидячем месте и пытался читать «Невидимку».

При Лободе он и не знал, что бывают на свете такие интересные книжки. А новый начальник приказал всем комсомольцам прочитать не меньше трех книг Уэллса. Английский писатель собирался в Москву, изъявил желание посмотреть Метрострой, и новое руководство 41-бис лелеяло мечту поразить знаменитого фантаста культурным ростом молодежи.

Уэллс прибыл, беседовал со Сталиным, а Метрострой посетить не пожелал, хотя для него была припасена спе-

циально пошитая спецовка. Метростроевское начальство обиделось, а Митя пристрастился к фантастике и, когда было тошно на душе, перечитывал «Невидимку».

На этот раз интересная книжка не читалась. Митя был расстроен и не знал, что сказать Тате. Лучше всего, конечно, потянуть волынку, пока что-нибудь не образуется. На это надежды было мало, настырная Тата в покое его не оставит. Так и вышло. Первыми ее словами при встрече были:

— Ну как?

Пряча глаза, Митя ответил:

— В порядке!

И стал торопливо рассказывать, как невидимка украл у викария Бэнтинга два фунта и десять шиллингов.

21

Он знал, что ложь Тата не переносит, но любовь сбивала его с толку. Огорчать самое дорогое существо жестокой правдой у него не хватало сил. Да и вранье-то, как казалось Мите, было неполное, неокончательное. Лобода не подписал — подпишет другой, например инженер Бибиков, и все образуется.

С атакой на Бибикова пришлось переждать. На днях инженер похоронил жену. В контору он являлся в черном галстуке, в черных носках, с обручальным кольцом на левой руке.

И все-таки после настойчивых усилий Мите удалось напроситься в гости. Приглашение, правда, повисло в воздухе: то у Мити срочное собрание, то у Бибикова экстренная экспертиза...

Наконец дата была определена, и в десятом часу вечера Митя взбегал по ажурному чугуну на второй этаж старого дома.

Он опаздывал. Пунктуальный инженер просил его пожаловать часиков после семи.

Читатель, вероятно, обратил внимание на то, что персонажи этой повести постоянно опаздывают. Меня такая расхлябанность раздражает. Но ведь метро в Москве только

еще строили. И троллейбусов почти не было. Таксомоторы, правда, бегали. Ежедневно около трехсот пятидесяти машин. Триста пятьдесят «фордиков» на четыре миллиона населения. Были еще извозчики — льстиво-наглые, медлительные и очень дорогие. Оставался трамвай, тот самый трамвай, в котором,

Чтобы рассесться —
и грезить бросьте,
висните,
как виноградные грозди.
Лишь к остановке
корпус ваш
Вгонят в вагон,
как нарубленный фарш[1].

Потому-то Митя и добрался только в десятом часу. Он сверился с табличкой, написанной пером рондо, и позвонил три раза.

Дверь отворил Николай Николаевич.

— Здрасте-мордасти! — сказал он, запахиваясь в стеганый халат.— Поздняя визитация! Ну что ж, проходи. Хуже было бы, если бы ты пожаловал после двенадцати.

Словно Вергилий, повел он Митю по коммунальному коридору мимо шкафов, комодов и подвешенных на стену велосипедов.

За первой дверью плакала и ругалась женщина, за второй стрекотала швейная машина. Девчонка лет четырнадцати, примостившись на сундуке и заткнув уши, зубрила географию. За раскрытой настежь дверью виднелась лиловая от папиросного дыма комната: четверо мужчин, сгорбленных над преферансом; босая женщина бродила в глубине, баюкала скулящего сосунка. На ручках следующей двери висели сургучные печати. За дверью напротив кто-то пиликал на скрипке «Колыбельную» Моцарта. А еще дальше на узкой дверце был прикреплен график уборки общественных мест, а ниже пером рондо было начертано

[1] Это стихотворение Маяковского было опубликовано в газете «Вечерняя Москва» под рубрикой «Маленький фельетон» в 1928 году. К 1934 году трамвайный парк увеличился на 25 процентов. Зато население Москвы по сравнению с 1928 годом удвоилось. *(Примеч. авт.)*

«Тушите свет» с тремя восклицательными знаками. Николай Николаевич квартировал в самом конце коленчатого коридора.

— Не удивляйся,— предупредил он.— У меня дама. Я, к твоему сведению, жуир и бонвиван.

Он был смущен. От него пахло пивом.

Комнату бонвивана перегораживал надвое четырехстворчатый буфет — огромное сооружение мореного дуба, изузорчатое, как собор Парижской богоматери, козырьками, башенками и затейливыми карнизами.

В освещенной половине генеральски блистал золотом корешков книжный шкаф. В черном зеркале фортепиано отражались непочатые стеариновые свечи.

За овальным столом с бронзовым, местами отставшим кантом, в оранжерейном свете салатного абажура сидела дама в шляпе, украшенной железными вишнями, и делала вид, что читает газету. На столе, заставленном пивными бутылками, дремал кот с черным бантом.

— Знакомься, комсорг, Кирилл.— Николай Николаевич показал на кота.— А это старикан Мефодий,— кивнул он на винтившегося кубарем шпица, тоже украшенного бантом черного крепа.

Даму он не нашел нужным представлять. Очевидно, имя ее было менее оригинальным.

— Присаживайся,— сказал он, опустился в качалку и стал беззаботно раскачиваться.— Слышал свежую сплетню? Слушай, чего придумали. Будто с этих, как их, ну, которые на портике... ну, эти... да как же их...— Он пощелкал возле виска тонкими пальцами.— Ну, с квадриги бронзовой, которая на портике Большого театра, приказано хвосты обрезать. У всех четырех лошадей. Для Метрополитена не хватает бронзы... Покойной Валечке рассказать — жаловаться побежала бы... А я им: что там лошади,— он наклонился к Мите игриво,— у самого Аполлона собираются кое-что чик-чик... Ничего, а?

Николай Николаевич залился смехом. О покойной супруге вдовец скорбел, как видно, только на службе. Перехватив недоуменный взгляд Мити, инженер заговорил скорбно:

— Любила покойница матушку-Москву, любила.

В Столешниках церковь ломали — плакала, молилась... Христа Спасителя ломали, тоже плакала. Уверяла, что над собором кружится белый голубь. Его гонят, стреляют, а он кружит... Вот какая ерунда творится на семнадцатом году революции. Ну-с, к вашим услугам.

Митя показал глазами на даму.

— Ах, вот что! У нас секреты! Любопытственно!

Он отвел гостью в угол. Они долго перешептывались и препирались. Наконец она собрала в кошелку пустые бутылки, пнула шпица и пошла.

— «Жигулевского»! — напутствовал ее Николай Николаевич.

Чтобы не тянуть канители, Митя без предисловий подал инженеру письмо, адресованное Первому Прорабу. Чем дальше читал Николай Николаевич, тем медленней качалась качалка. На второй странице совсем замерла.

— От Енисея,— проговорил он, пораженный.— От Енисея до Москвы, а? Без денег и без документов? Вот уж действительно — русский народ способен преодолевать все и всяческие трудности. Послушай, а ты тут... Э-э-э... ничего не прикрасил, молодой человек?

— Я помнил, кому писал,— возразил Митя строго.

— Пардон... Невероятный случай. Тайны Лейхтвейса! А Чугуева действительно работница экстра-класса... Вспоминаю, она траншею копала. Я встал, балда балдой, и глаз не могу оторвать. Этакая массивная девица, руки — как ноги, перси — во! А лопату возьмет — глазам не веришь. Влюбиться можно! Лебедушка! Балерина Уланова! А Осип какой подлец! Мерзавец! Откровенный мерзавец! Ловко ты его! Отлично!

Николай Николаевич сложил бумагу и, как папироску, двумя пальцами протянул Мите.

— Надо добиться, чтобы ее простили,— сказал Митя.

— Если бы это удалось! О, если бы это тебе удалось!

— Надо добиваться,— повторил Митя, упорно не замечая бумаги.— Одного моего заявления недостаточно. Мало ли чего могут подумать. Надо, чтобы меня поддержали.

— Ты прав.— Николай Николаевич положил бумагу на секретер поближе к Мите.— Мало ли чего могут подумать... Кого бы тебе присоветовать...

— Неужели некого?

— Как же, людей много... Надо подумать... Кстати, слово «незаменимая» — одно, а не два. «Не» надо писать вместе. Приставка «не»...

— Хорошо бы кого-нибудь из руководства нашей шахты,— грубо перебил Митя.— Я думал. Шахтком — молчун вечный, начальник — новый кадр.

— Новый кадр, новый кадр. Это ты верно. А что, если толкнуться к этому, как его... к бывшему... К Лободе если, а? Кавалер орденов все-таки.

— Был. Лобода не желает. На весь свет обиделся.

— Так я и думал. Главой скорбен Лобода. Ныне и присно... Мы с ним вместе любовались, когда она траншею-то копала. Он ее и назвал Лебедушкой...

— Что Лобода! Тут нужно авторитетную кандидатуру.— Митя посмотрел на Николая Николаевича и усмехнулся.— Инженера бы хорошо.

— Где сейчас найдешь авторитетного инженера? — вздохнул Николай Николаевич.

— Инженера-производственника,— нахально гнул свое Митя.— Который понимает, что Чугуева незаменима... Не подскажете?

— Кстати, не забудь, исправь слово «незаменимая».

— С вашей бы шахты инженера.— Митя уже понимал, что Николай Николаевич не поможет, и смотрел на него откровенно издевательски.— К которому Васька стирать ходит и полы мыть в местах общего пользования...

— Веди себя, мой друг, вежливей. Ты не в шахте. Желаешь, чтобы твою петицию поддержал я, так и скажи.

— Я так и говорю. Я одного товарища заверил, что вы подписали.

— Напрасно. Еще раз садиться в лужу? Не собираюсь! Почему ты сам, за своей подписью не посылаешь?

— Сравнили... То я, а то инженер Бибиков.

— А инженер Бибиков не уверен, что за Чугуеву надо заступаться.

— Не уверены?! — Митя вскочил со стула.— Девчонка

десяток профессий освоила, за бригадира стоит, а вы не уверены?

— Не уверен. У меня нет достаточной уверенности в том, что твоя петиция отвечает высшим законам исторической необходимости... И кроме всего прочего...— Николай Николаевич вздохнул.— Я, понимаешь, в жесточайшем цейтноте. Вот, полюбуйся,— он кивнул на подоконник. Там громоздились восемь пухлых папок, набитых бумагами.— Воспоминания строителей. Пока что — совершенно секретно... Тебе известно указание начальства — создать летопись Метростроя?

— Как же! Тут и мои воспоминания есть,— Митя ухмыльнулся.— Даже не одно, а два.

— Почему два?

— Одно написал от себя, другое — за Ваську.

— Прекрасно! Видишь — здесь около сотни рукописей. А мне отпустили семь суток, чтобы в часы, свободные от службы, прочесть все, что здесь накорябано, и выправить техническую терминологию. Работа сложная. Ведь тебе ничего не стоит вместо слова «эскалатор» написать «экскаватор». И наоборот.

— Ничего, Николай Николаевич! Вы не такие трудности перебарывали. Зато получится знаменитая книга. По ней будут изучать потомки, как мы тут вкалывали, как возводили подземные дворцы коммунизма.

— Откровенно говоря, это меня и пугает. Давай посмотрим, что увидят потомки, почитавши ваши мемуары. Я тут кое-что выписал. Ну-с, во-первых, потомки увидят, что подземные дворцы хронически не обеспечивались материалами: «Материала не было. Поехал я с одним парнем в карьер к Москве-реке бут разыскивать. Привезли бут и начали работать. Закрыли каллоту до замка — это верхняя часть свода. Тут надо было заложить самый крепкий камень, а у нас кругом только мягкий известняк. Надо было доставать гранитный камень. Поехали мы опять и около Курской дороги нашли большие камни. Привезли их на шахту, разбили на клинья и сделали замок. Так мы предупредили аварию». Ну хорошо. Предположим, штукатур, который спер гранит, принадлежавший железнодорожникам, имел бы официальный наряд на этот драгоценный

камень. Думаешь, все? Как бы не так: «На Метрострое недостаточно было иметь наряды на материалы и транспорт. Надо было драться за реализацию этих материалов». Драться! — понимаешь! Пойдем дальше. На строительстве подземных дворцов не было самых элементарных механизмов. «В шахту бетон подавался на носилках — другого способа придумать не могли». Это не я говорю, а написано в мемуаре. «А когда уже можно было подвозить бетон по нижним штольням, неразрешимой осталась проблема доставки в верхние штольни. Каждая шахта придумывала свои способы. На 9-й бетон таскали ведрами через фурнели и лишь потом догадались поставить обыкновенный ворот. На 17-й через блок верхняка перебрасывали веревку, на один конец привязывали ведро с бетоном, а другой — к поясу рабочего. Рабочие — чаще всего это были девушки — бегали по штольне и таким образом вытаскивали ведро наверх». Еще почитать? Заместитель начальника Метропроекта: «Проектирование арбатского радиуса было начато,— слышишь, не кончено, а начато,— почти одновременно с развертыванием строительства». А что значит отсутствие утвержденного проекта? Это значит, что люди не понимали, что они строили. И тем не менее строили — и строили с энтузиазмом. С небывалой быстротой поставили вестибюль метро на середине Арбатской площади. Решили похвастать Первому Прорабу. Он приехал — и приказал вестибюль сломать, поскольку он мешал автомобильному движению. Проявляя энтузиазм, здание разрушили невиданно быстрыми темпами, начали строить новое — у рынка. Построили больше половины. Приехал Первый Прораб — снова велел переносить. Пока он ездил налаживать колхозы, поставили третий дом. Вернулся Первый Прораб — велел переделывать колонны и прорубать двенадцать дверей вместо четырех. Об этом вспоминает не какой-нибудь злопыхатель, а секретарь парткома шахты 36—37. Вот что значит — строительство без проекта.

— Надо было проектировщиков крепче жучить! — сказал Митя.

— Зачем? Что они — не работали? Вот написано: «На

протяжении целых месяцев коллектив Метропроекта нередко работал дни и ночи напролет».

— Работали дни и ночи, а производительность труда равнялась нулю,— комментировал Митя.

— Совершенно верно. Не успевали закончить проект, а он становился негодным. Почему? Потому что наверху каждый день принимали новые решения, отличные от вчерашних. Но это все присказка. Сказка-то впереди. Твои толковые потомки, прочитавши все это, не могут не задаться вопросом: если строительство не обеспечено материалами, если нет механизмов, а следовательно, и механизаторов, если не существует утвержденного проектного задания, то есть никому не известно, что, собственно говоря, надо строить,— каким образом определять срок окончания строительства? Высшие силы решили эту задачу гениально: назначили срок по праздничку. Помнишь, как нам в начале года объявили, что метро будет пущено 7 ноября 1934 года. Почему не 1 мая или, например, 8 марта — размышлять негигиенично. Те, кто пробовал рассуждать, после раскаивались. «Откуда Первый Прораб знает, что я говорил о том, что работу на шахте мы закончим к 1 декабря, а не к 7 ноября?» — долго удивлялся начальник шахты товарищ Ермолаев. А тот, кто пытался спорить вслух (вроде, например, директора завода имени Владимира Ильича), получил встречный вопрос: «Значит, для вас постановление Московского комитета не обязательно? Так и запомним».

— Вы что же,— спросил Митя, прищурившись,— против руководящей роли партии?

— Что ты, что ты, комсорг! Московский комитет проводит титаническую работу! Мобилизовал отличных рабочих, собрал со всей Москвы грузовики, разместил по сотням заводов заказы, привлек иностранных консультантов. А самое главное, Московский комитет в корне сломал вековую рутину старого инженерства: семь раз отмерь — один раз отрежь. Семь раз мерить было некогда. Сроки хватали за горло.

— Так называется моя статейка,— напомнил Митя.

— С чем тебя и поздравляю... И вот, когда кому-то наверху надоело дожидаться дешевых проектов и опти-

мальных решений организации работ, этот кто-то назвал число — «7 ноября» — и заставил семьдесят тысяч голов думать только об одном — о победе в назначенный срок. О победе — любой ценой. И думать нам стало некогда. Все мы были мобилизованы на титаническую борьбу со случайностями природных недр. Нам пришлось драться за погонные метры, штурмовать плывуны, врубаться в базальтовые толщи. Короче говоря, началась война с природой. И в такой обстановке нам, инженерам, стало чрезвычайно трудно работать. Некоторые, трусливые интеллигенты, стали потихоньку сбегать. Мне очень жаль, что нет статейки Муравкина. Вот это был настоящий интеллигент. Идеал современного инженера. Какую бы панику ни поднимали — полная невозмутимость. Выбрит до блеска. Свежий воротничок. Брюки со стрелкой. Без толку в шахты не бегал. Инженер должен не бегать, а думать, проверять исполнение и отвечать за результат. А исполнение, расстановка людей — дело десятника.

— За это Муравкина и сняли с работы.

— И напрасно.

— И Лободу напрасно?

— Лободу напрасно посадили на руководящую инженерную должность. Поскольку он — от сохи, надо было его не на шахту, а сразу послать в подсобное хозяйство. Мужик-то он толковый, хитроватый. Помнишь, наверное, в очередной раз пришлось отклоняться от проекта и подкапываться под старые дома Волхонки, под «обвальные» домики. Лобода сам ни разу там не бывал — все Муравкина посылал. И Лобода и Муравкин одинаково хорошо понимали смертельную опасность, грозящую и им, и жителям домов, под которые подкапывались, но Муравкин в отличие от Лободы обладал бесценным качеством: инженерной интуицией. Он умел предчувствовать случайность и вероятность этой случайности. Однажды Муравкин заманил надоевшего ему своей бдительностью контролера из МК в узкую, темную траншею, заставил заползти под фундамент ветхого дома и в лежачем состоянии прочел ему длинную лекцию о том, что даже каменщики времен Бориса Годунова знали сложные законы строительной механики. Когда контролер явился к нам в контору, лица

на нем не было. Кстати, контролер тоже представил воспоминания. Там, в частности, говорится: «Мы пошли на это дело спокойно и уверенно, ибо ежеминутно и ежечасно чувствовали, что каждый наш шаг направляют и проверяют Московский комитет партии и лично Первый Прораб». И еще там сказано, что «законы большевистской механики оказались сильнее законов строительной механики».

А в целом, надо признаться, что далеко не все старые интеллигенты, дипломированные питомцы Санкт-Петербургского горного института и Института инженеров путей сообщений императора Александра Первого сохранили лицо в чрезвычайных обстоятельствах. Многие пасовали, трусили, пытались прятаться. А некоторые даже хвастались своей бездеятельностью: «Мы победили только потому, что непосредственным руководителем и организатором работы по северному вестибюлю являлся не я, хотя я и числюсь начальником, а Никита Сергеевич Хрущев».

Словом — это было не строительство, а ежедневный изнурительный бой, в котором командиры-инженеры отстранены от командования, но не отстранялись от ответственности.

Вот выписки из воспоминаний инженеров: «И Никита Сергеевич (это — Хрущев), и Николай Александрович (это — Булганин) ежедневно по два раза в день приезжали на шахту, по нескольку раз звонили по телефону». «Можно сообщить Первому Прорабу,— все время спрашивал нас товарищ Хрущев,— что вестибюль будет сделан?» — «Надо дать два кольца в сутки»,— торопил Первый Прораб. «Надо кончать станцию! Надо дать хорошую станцию!» — понукал Первый Прораб. «Плохо вы, товарищи силикатчики, выполняете план! Из-за вас задерживается кладка железобетонной рубашки»,— бранился Первый Прораб. «Весь год мы провели в состоянии огромного нервного напряжения»,— признается в своей статье начальник работ по замораживанию грунта Денищенко. А такое напряжение не проходит даром. Один профессор с перепугу предложил замораживать грунт обыкновенным вентилятором. А начальник шахты просто сошел с ума — ему все казалось, что он идет под мостом, а поезда, люди,

дома — все валится. Как ты думаешь, могли ли мы в такой обстановке быть полноценными командирами производства?

— Вы думаете, Николай Николаевич, это тоже заинтересует потомков? — уклонился от ответа Митя.

— Этого я не знаю. Но потомки получат достаточно ясный ответ из ваших воспоминаний. Они увидят, что на строительстве первой очереди метро царил кавардак. Штурмовщина. Аварийная обстановка. Вот я тут выписал: «Ребята работают несколько смен подряд. Из камеры выходят только пообедать». «Бригады Петушкова, Старикова по две и по три смены не выходили из шахты». «Когда начинались бетонные работы, люди не уходили из шахты сутками». «На последнем этапе... двое суток комсомольцы не выходили из наклонного хода, но 200 кубометров дали». «Комсомольцы забыли, что такое дом и семья. Сплошь и рядом справляться о судьбе комсомольцев приходили в котлован их родители, жены и сестры. Комсомолец Степанечев трое суток сидел на изоляции аварийной сваи». Такую вот картину увидят потомки, почитавши ваши воспоминания. Неразбериху увидят, кавардак и бестолковщину.

— Ошибаетесь, Николай Николаевич. Они увидят битву и большевистские темпы,— перебил Митя.— Увидят энтузиазм молодежи.

— Запомни, комсорг: энтузиазм приносит пользу только при умножении на строго продуманную организацию работ. А если ты строительную площадку превратишь в театр боевых действий и затеешь драку за темпы, то любой энтузиазм, как в любой драке, только увеличит число калек и убитых. Кстати, некоторые мемуаристы почему-то особенно подробно и, я бы даже сказал, со смаком расписывают трагические эпизоды: пожары, обвалы, гибель от удушья, от электрического тока. Вряд ли это украсит книгу.

— Не все же про это пишут.

— Не все, а многие. Ты, к примеру, пишешь про забойщика Киселева: «Через 36 часов пребывания в забое был почти силой извлечен оттуда в полуобморочном состоянии. Он не желал уйти с поста до окончания перекрепления...

При заделке замка в своде кольца № 17 он простоял на участке до тех пор, пока снова не упал в обморок от жары, духоты и усталости. Недавно на заседании редсовета писатели, которые вызвались произвести, так сказать, литературную прическу ваших писаний, посоветовали избегать конкретностей — цифр, фамилий и прочего в вопросах охраны труда, и предложили загадочную формулировку: «Травматизм на Метрострое равнялся Днепрострое-вскому...» Это, конечно, тоже не сахар, но приличнее того, что вы пишете: мол, несчастные случаи «были следствием излишней удали и лихачества самих рабочих». Ничего себе — почтили героев-энтузиастов, отдавших свои жизни Метрострою...— Николай Николаевич вздохнул.— Что ни говори, комсорг, а наши метростроевцы — чудо. Золото. Возьми хоть Ваську твою. Золото девчонка! А вот на́ тебе — подкулачница...[1]

— Ленин говорил, что даже помещика можно брать в коммуну, если он порядочный...

— Где же он это говорил?

— В Петросовете! Лобода лично слышал... Я про это в сочинениях Ленина искал, пока не могу найти[2].

— Вот видишь, не можешь. Найдешь — другой разговор. А пока не нашел, защищать Чугуеву мне представляется негигиеничным.

---

[1] Забегая вперед, скажем, что не все замечания Николая Николаевича были приняты во внимание. Приведенные выписки можно найти в книгах «Рассказы строителей метро» и «Как мы строили метро». Вышли они в Москве, в издании «История фабрик и заводов». Книги эти размером около 50 печатных листов каждая были выполнены по образцу дореволюционных «роскошных» изданий: с золотым тиснением, с фотографиями и гравюрами на мелованной бумаге, предохраненными папиросными прокладками. Изданы они метростроевскими темпами: первая сдана в верстку 1 марта 1935 года, а вышла в свет 7 марта того же года! Вторая подписана к печати 3—13 июня 1935 года и вышла в свет 21 июня 1935 года. Тираж каждого из томов тоже метростроевский: 100 тысяч экземпляров. В экземплярах, которыми я пользовался, тираж обозначен так: в «Рассказах строителей метро» (первый завод — 5 тысяч), а в книге «Как мы строили метро» (первый завод — 3500). Последующие заводы мне в руки не попадали. *(Примеч. авт.)*

[2] Найти нужную цитату Митя не мог, потому что выступление Ленина на заседании Петроградского Совета 12 марта 1919 года (раздел 2, ответ на записки) впервые было напечатано в 1950 году в четвертом издании Сочинений (29-й том, 18-я страница). *(Примеч. авт.)*

— Боитесь, так и скажите, что боитесь. А то...

— Я, молодой человек, никого не боюсь, кроме господа бога. И не потому, что такой уж Ахиллес бесстрашный, а просто потому, что устал. Бояться устал. Я ведь, к твоему сведению, не такое писал. Я прямо писал, что срок окончания метрополитена 7 ноября 1934 года — невежественный, безграмотный, авантюрный, преступный.

— Так и написали?

— Так и написал. Раньше 1938 года не построим. Писал и думал: пускай выгоняют, черт с ним. Возьму ночной горшок и уеду в Аргентину! Ну так вот. Вызывает меня Первый Прораб. «За неверие в большевистские темпы вас следует наказать,— объявил он.— Решим так: в день открытия метро вы прочитаете свою докладную на торжественном собрании строителей...» Сейчас на дворе октябрь. На днях пускаем пробный поезд на Сокольники. Где-нибудь в середине 1935 года подземка начнет действовать.

— В феврале,— уточнил Митя.

— Почему в феврале,— вскинулся Николай Николаевич,— из каких расчетов?

— В феврале на почтамте будут продавать марки в честь пуска метро.

— Откуда тебе известно?

— Из достоверных источников.

— Ну вот. Я научными формулами доказывал, что раньше 1938 года метро не построить, а метро в будущем году повезет пассажиров. И меня вытянут на трибуну на всеобщее посмешище. Чего же я не учитывал? А не учитывал я, дорогой товарищ, одной простенькой вещи: не учитывал я, что на дворе ре-во-люция. Меня учили уравнениям Максвелла и формулам трех моментов, а метро строили по формулам революции. А я об этих формулах не имею никакого понятия... В своих расчетах я, видимо, не учитывал энтузиазм молодых революционеров. Впрочем, энтузиазм приносит плоды только тогда, когда он направлен в русло продуманной организации труда. Я все-таки опасаюсь, как бы наш соблазнительный пример антиинженерного строительства, строительства любой ценой, не вошел в привычку... Ты что, думаешь, мне Ваську не

жалко? Очень жалко. Кстати, она удивительно выжимала белье после стирки. Валечка, бывало, выжмет — сутки сохнет, а Васька выжмет — сразу гладить можно... Очень сожалею. Весьма. А писать ничего не стану. Почему? Потому что не хочу второй раз садиться в калошу. Почем знать? Если ее заслали на берега Енисея, значит, она должна там жить... Может быть, так положено. Возражать истории глупо. Так же глупо, как заливать вулкан лейкой. Революция всегда права, к твоему сведению... Бывало, я и сам был не прочь позубоскалить: чего это выдумали — справки, анкеты! А в анкетах пиши про бабушку, дедушку, чем они занимались до семнадцатого года...

Позвонили три раза. Вернулась дама, принесла пиво, краковскую колбасу. Время клонилось к полуночи. Митя думал, что дама уйдет, а она села и заслонилась газетой.

— Так вот,— продолжал Николай Николаевич, уютно покачиваясь в качалке,— чем занимались до семнадцатого года. Смешно, правда? Не лучше было бы спрашивать нового человека: выпивает ли он? Курит ли? Любит ли болтать по телефону? Какая книга ему нравится? Какие цветы? Какие женщины?

— И хорошо бы,— сказала дама, опуская газету.

У нее было пухлое молодое лицо и пустые глаза с большими, как у телки, ресницами.

— Послушай,— встрепенулся Николай Николаевич,— как тебя... э-э-э...— Он защелкал пальцами.— Ну, как тебя...

— Беспамятный ты, дядечка,— сказала гостья.— Я тебя учила, зови Адель.

— Послушай, Адель, нарежь, пожалуйста, колбасы. Будь добра.

— А ножи у тебя где?

— Вон там, в буфете.

Митя вскочил и стал прощаться. Николай Николаевич охотно повел его к выходу. В квартире было тихо.

— Сюда,— нашептывал Николай Николаевич, придерживая Митю за локоть,— сюда... Не оступись...

У выхода Митя обернулся и спросил полным голосом:

— Почему это, Николай Николаевич, так получается: чем человек ученей, тем меньше в нем жалости?

— Тише, тише...— Николай Николаевич погрозил и показал на табличку.

Табличка, изготовленная пером рондо, висела на входной двери. На ней было написано: «Не хлопайте дверью. Уважайте покой коллектива жильцов».

Митя рванул было вниз по чугунным ступеням и вдруг встал как вкопанный. Он вспомнил: завтра придется давать Тате подробный отчет о походе к Бибикову. Неужели врать снова? В августе Тата молчала, в сентябре поглядывала с подозрением. И в начале октября Митя признался, что дело не движется.

«Ничего не поделаешь.— Митя вышел на ночную улицу и вздохнул.— Скажу Татке, что дело в шляпе. Скажу, что письмо пошло по инстанциям за двумя подписями. Пускай проверяет».

Так он ей и сообщил. Хорошо, если она поверила.

22

В начале ноября отпечатали первый экземпляр документальной повести. Выносить за стены издательства пробный экземпляр не полагалось, но Гоша вымолил у слабовольной редакторши свою книжку и бросился на улицу.

У небоскреба «Известий» ждали его Митя и Тата.

Гоша предложил «отпраздновать рождение первенца» в кафе. При слове «первенец» Тата поморщилась. Первенец получился тощий. На обложке красовалась девица, срисованная с газетного оттиска, улыбистая, с ямочками на щеках, со злополучной брошью, на Ваську совершенно непохожая.

По дороге Гоша цитировал Данта: «Все, что ты видел, объяви сполна!» — показывал книгу из своих рук, разглагольствовал о замыслах будущих творений. В минуты радости молодой писатель становился патологически болтливым. Проходя Моссовет, он вспомнил, что фигуру женщины для обелиска Свободы скульптор лепил с артистки

Хованской, что был такой театрик «Летучая мышь» и Хованская танцевала там «танго нэпик», что рядом, в бывших меблирашках «Черныши», живал Гошин однофамилец Глеб Успенский.

— У тебя голова как чулан,— не утерпела Тата.— Чулан, забитый старой рухлядью.

— Чтобы правильно видеть новое, надо не забывать старое,— произнес Гоша.

Тата поморщилась. На нее стало все чаще накатывать странное раздражение. Она смутно предполагала причину, но додумать до конца еще боялась.

Шестого ноября Митя пригласил ее в кино «Молот» на торжественное заседание метростроевцев. В этот день особенно раздражали жадные филателисты на почтамте, пресное второе, ненастная погода, и назло неизвестно кому она надела на вечер прозрачную блузку.

Чуткий Митя посмеивался над ее мелкими капризами и допытывался, что с ней. В кинотеатре они повздорили и поругались бы серьезно, если бы по рядам не доползла новость — арестовали Осипа. Митя облегченно вздохнул, а Тата печально думала: «И чему радуется? Неужели непонятно, что Осип обязательно расскажет следователю про Ваську. А за Васькой потянут и ее покровителя Митю».

В разгар торжества на сцену вышел заспанный прораб Гусаров и объявил, что в котлован прорвался плывун, и зрители, не жалея ни праздничных нарядов, ни туфелек, принялись таскать мешки с песком, бревна, доски и тюки сена. Вместе со всеми работала и Тата. И Седьмого ноября ранним утром, подъезжая к дому, измученная и обессиленная, она призналась Мите, что беременна.

— Ну так что же? — Митя дурашливо хмыкнул.— Придется расписываться.

Видимо, он хотел шутнуть, что теперь Тате волей-неволей придется жить с рыжим метростроевцем. Шутка не получилась. Для изобретения галантных фраз Митя был слишком обескуражен. А Тата обиделась. Ей показалось, будто при данных обстоятельствах он считает, что его вынуждают расписываться. Недоразумение скоро было улажено. Митя решил подать заявление на комнату, а Тата обещала подготовить родителей.

Задача была не из легких. Мама уже посматривала на нее по утрам длинным вопрошающим взглядом. Но мама верила в бога и все неприятности списывала на волю всевышнего. А вот отец, профессор-ихтиолог Константин Яковлевич, хотя бога не признавал и разделял вместе с Татой рекомендации революционных демократов по поводу свободного брака, тем не менее потребует визита жениха и испрашивания у родителей «руки дочери». Еще неизвестно, как он отреагирует на рыжие лохмы и метростроевские шуточки будущего зятя. Хотя Митя и бывал у Таты в школьные времена, отца ее он почти не видел. После челюскинской эпопеи Константин Яковлевич два месяца провел в Крыму в закрытом доме отдыха, вернулся бодрый, задиристый, и, по всей видимости, ему в голову не приходило, что наступит время, когда его дочери станут выходить замуж.

Несмотря на грудную жабу, мама отнеслась к грядущему замужеству старшей дочери сочувственно, особенно после того как Тата намекнула о беременности. Обе женщины принялись морочить профессору голову с такой хитрой нежностью, что он опомнился лишь после того, как нашел себя в положении организатора, руководителя и главного распорядителя встречи жениха, назначенной им же самим на завтра. «Позвольте, позвольте! — взывал он.— Какой жених? Какой комсорг шахты? Зачем мне комсорг? Сперва надо посмотреть, что это за фрукт!» — «Вот ты и посмотришь, Костик,— гладила его супруга по рукаву.— Мы делаем так, как ты сказал. Ты беседуешь с ним тет-а-тет, затем приглашаешь в столовую на ужин».— «Какой ужин? Зачем ужин?» — кричал профессор. «Такой, как ты приказывал, папуля,— гладила его по другому рукаву Тата.— Без разносолов и деликатесов, скромный пролетарский винегрет, мамалыга, чай...»

— И, пожалуйста, не наряжайся! — кричал профессор супруге.

— Конечно, Костик...

— А там поглядим, там поглядим!..

— Там поглядим,— покорно повторила супруга, доставая панбархатное платье.

Вечером, вернувшись с лекции, профессор окинул взглядом сумрачный кабинет. Тяжелые переплеты атласов, фолианты Блоха, Мебиуса и Хейнке, солидный том Никольского «Гады и рыбы», разбросанные на столе и на стульях, большой, как у Фауста, глобус, мерцающий медным поясом зодиака, выглядели внушительно. Шкура белого медведя была убрана в шкаф.

Два грузных кожаных кресла Константин Яковлевич решил переставить рядом, под небольшим углом, способствующим интимной беседе. Кресло, из которого выпирала пружина, было пододвинуто к лампе. Сюда сядет гость. Другое, обложенное думками, хозяин назначил себе и, напевая «там поглядим, там поглядим», отпихивал подальше в сумрак.

За этим занятием и застал его Митя.

— Здравствуйте, Константин Яковлевич,— проговорил он явственно, как учила Тата.

Константин Яковлевич заранее решил вести беседу вежливо-иронически.

— Здравствуйте,— он сдержанно протянул руку.— Очень рад.

— А я Дмитрий Романович. Митька, в общем. Татка небось говорила? — Митя смущался и тряс слабую профессорскую кисть.

— Говорила, говорила...

— На метро работаю. Комсорг шахты.

— Знаю и это. Отдайте, пожалуйста, мою руку.

Митя окончательно смутился и плюхнулся в профессорское кресло.

Константин Яковлевич был тщедушен и худ особой, мефистофельской худобой, наводящей на мысль о коварстве и хитрости. Но он не был ни коварным, ни хитрым. Он был мнителен. Мнительность объяснялась просто. Маленький рост не позволял ему выглядеть с той значительностью, какую он в себе ощущал.

Башмаки на высоких, как у Ньютона, каблуках помогали мало, надменное вскидывание головы — еще меньше.

Константин Яковлевич стоял против Мити, закинув лобастую голову, словно его брили, и ждал, когда гость догадается встать с кресла.

Митя растерянно разглядывал кривые фасолины профессорских ноздрей, чувствовал, что сделал какую-то неловкость, но не мог угадать какую.

— Это правда, вас в бомбовом футляре летчики вывезли? — спросил он наконец.

— Не в футляре, Дмитрий Романович, а в отсеке.

— Понятно,— сказал Митя.

— Что понятно? — подозрительно вскинулся профессор.— Вы с Наташей давно знакомы?

— Давно! Еще когда в школе учился... Я бывал у вас. Ножик у вас сломал.

— Ах, это вы изволили сломать! Так, так...— Профессор зашагал из угла в угол.— А теперь вместе посещаете театры? И какие ваши дальнейшие намерения?

Митя неопределенно пожал плечами. Он испытывал все возрастающую неловкость. И не потому, что явился свататься — об этом родители не узнали,— а потому, что над сватовством повис обман. От одной мысли, что, еще не женившись, он уже обманывает и Тату, и ее мать, и важного, смешного профессора, Мите становилось тошно.

Время шло, а язык не поворачивался говорить о главном.

— Тата намекнула, что вы с ней собираетесь вступить в брак,— помог Константин Яковлевич.— Не рановато?

— Почему рановато? Я на троих когда хочешь заработаю. А девчонки, они уже в школе плануют выйти за Гарри Пиля и жить в филармонии... Я смеюсь,— пояснил Митя грустно.

Константин Яковлевич опустился в кресло. Пружина злорадно звякнула.

— Что с вами? — заботливо спросил Митя.

— Не беспокойтесь. Нога. После льдины...

Внезапная мысль пронзила Митю. Вот кто должен подписать прошение о Чугуевой, герой-челюскинец, вот кто! Вот она, безотказная подпись. И бумага при себе. Уговорить, и вопрос исчерпан.

Митя весело вскочил с кресла и чуть не хлопнул профессора по плечу.

— Подвезло вам все ж таки,— заговорил он,— на весь

свет слава! Татка как скажет, что дочь челюскинца, ее и милиция отпускает, и билет без очереди. Да и вы все ж таки в Крыму погрелись. Во дворцах отдыхали с наркомами.

«Таткина информация,— понял Константин Яковлевич.— Придется с ней серьезно беседовать».

— И премия,— продолжал Митя возбужденно.— Полугодовой оклад — все ж таки не шутка! Даже не верится. Мы с Таткой считали — больше шести тысяч. На дирижабли не будете жертвовать?

— Этот вопрос мы обсудим ниже, Дмитрий Романович. А в отношении женитьбы, и прежде, и в особенности теперь, я считаю замужество Натальи преждевременным. Пройдет годик-два, а там поглядим...

— Да и я считаю, что надо бы обождать,— согласился Митя.— А куда денешься?.. У нее дитё.

— Какое дитё? — Константин Яковлевич вскочил. Пружина брякнула.

— Кто знает. Если мальчик — Артем, девочка — Антенна. Сокращенно — Тена. А дальше дети пойдут, будем называть на Б, на В и так далее. Я смеюсь... А где шкура? — спросил он внезапно.

— Какая шкура?

— От белого медведя. Тут, на полу, лежала.

Тугое лицо профессора дернулось.

— Нас зовут к чаю, Дмитрий Романович,— заметил он.

— Сейчас,— сказал Митя.— У меня к вам разговор.

— В столовой поговорим. Пожалуйте.

— В столовой нельзя,— возразил Митя.— Разговор подпольный.

— В каком смысле подпольный?

— Татка бузит.

— Бузит? Каким образом?

Митя оглянулся на приоткрытую дверь:

— Про Чугуеву она не говорила?

— Про Чугуеву? — Константин Яковлевич тоже оглянулся на приоткрытую дверь.— Про какую Чугуеву?

— Про нашу Чугуеву!

Константин Яковлевич решил схитрить. Он пребывал в крайней растерянности.

— Ах, да... Чугуева, Чугуева... Как же, припоминаю...— пробормотал он.

— Ну так вот. Дела наши рассыхаются.— Митя плотно притворил дверь.— Она не желает расписываться. Подозревает, что вру.

— Чугуева?

— Зачем Чугуева? Татка! В общем и целом мы с ней договорились. Только она условие ставит: пока не сообщу про Чугуеву в инстанции, расписываться не будет. Может, на пушку берет, не знаю. А что я могу сделать? Бывшего начальника шахты просил заступиться — не желает, и помтех не желает. Татке трепался: Лобода подписал, и Бибиков подписал... Заврался по уши.

— Это нехорошо.

— Конечно, нехорошо. А что сделаешь? Говорит, расписываться не будет. А что мне теперь Чугуева? Она у меня с прошлого месяца не работает. Ее на могилки забрали.

— На могилки?

— Ну да, на кладбище. Там могильные плиты тесали, надписи... Наших лучших девчат туда направили мрамор для метро шлифовать... Там кореш мой мастером, Шарапов ему фамилия, длинный такой, не поверите... Вот если бы вы себе бы самому на плечи забрались да встали бы в полный рост — такой бы были высоты, как один Шарапов...

Константин Яковлевич рассердился:

— Позвольте, Дмитрий Романович. При чем здесь Шарапов?

— Так ведь Чугуева не у меня теперь работает, а у Шарапова. Формально я за нее не отвечаю. Понятно?

— Понятно, понятно! — напевал Константин Яковлевич. Он ничего не понимал.

— Уж если Чугуеву топить, так в мае мне надо было, когда она меня укокошить хотела. Напишу про нее, а меня спросят, где раньше был. Почему не чесался? Полгода скрывал беглую лишенку!

— Чш-ш-ш! — Константин Яковлевич загородил

тонкие губы пальцем.— Разве можно? За стеной соседка! Покорнейше прошу чайку, а там поглядим.— И он запел, потирая руки: — Там поглядим, там поглядим...

— Обождите, Константин Яковлевич. У меня к вам просьба. Только Татке не говорите. Татка между делом сказала, будто вы в Крыму крупное знакомство завели. Наркомшу в лодке катали, жену этого...

— Чш-ш-ш! — Константин Яковлевич выкатил глаза и замахал руками.

— А чего я говорю? Я ничего такого не говорю. Что вы ее в лодке катали, в этом ничего такого нету... Ладно, ладно, понятно... Я на букву скажу. Вот прошение, про кого, сами знаете. На букву Ча. Вот оно. Только никому не показывайте. Ни Татке, никому. Вопрос у меня поставлен на ребрышко. Во-первых, никакая она не кулачка и взята по ошибке. Ладно, ладно. Я на букву скажу. Никакая она не Ка. Она под Ка. Ясно? А просьба у меня такая: поедете в гости, покажите, сами знаете кому.

— Ничего не понимаю,— пробормотал Константин Яковлевич ошалело.

— Чего тут не понимать? Знакомому. Крымскому. Ну? Улавливаете?

— Чш-ш-ш!

— Скажите ему, Митька, мол, комсорг 41-й бис, головой отвечает. Девчонка — золото. Работяга — во! Безотказная. Ей-богу, правда! Бумага немного замята, ну ничего. Я ее таскал долго. И Лобода ее хвалит, и инженер Бибиков. А как до дела — на тормоза. Запятые поправляют, а подписать боятся. Небось самих коснется — завизжат как поросята...

— Мужчины, чай пить! — послышалось из столовой.

— Обождите! — Митя взял онемевшего профессора под локоть.— Тут вопрос не об Чугуевой. Вопрос об Татке. Нам с ней, куда ни кинь, жизнь жить. Дитё будет. А я — объективно получается — играю на руку, сами знаете кому... Куда ей такой муж. Да и вам заиметь зятя с пятном — интереса нету. Помогите, Константин Яковлевич! И я, может быть, вас

отблагодарю. Не глядите, что неученый. Я выучусь.

Константин Яковлевич сунул Митину петицию в первую попавшуюся книгу. Выдающийся профессор, автор дерзких гипотез о миграции лососевых, ученый, показавший образцы мужества на разгрузке гибнущего «Челюскина», в обыкновенном, житейском смысле оборачивался примитивным трусом. Он принадлежал к числу интеллигентов старорежимных. Новому режиму он не сочувствовал, но, чтобы режим об этом не догадывался, регулярно выписывал журнал «Под знаменем марксизма».

Из столовой снова раздался зов. Пришлось идти. Константин Яковлевич был так выбит из колеи, что не замечал ни панбархатного платья супруги, ни торгсиновской зернистой икры — сорок рублей килограмм, ни возвышавшегося на блюде толстенного литерного куска языковой колбасы.

Людей профессор делил на классы, подклассы и виды так же, как рыб. Митю он отнес в разряд морских котов — опасных хищников с ядовитым когтем на конце хвоста. В голову его втемяшилась безумная мысль: а что, если письмо, которое всучил ему морской кот,— тонкая, обдуманная провокация? Состряпал петицию в защиту кулачества и втягивает в политическую аферу. Надо держать ухо востро! Не поддаваться! Не произносить ничего такого, что может быть превратно истолковано!

Жена Константина Яковлевича помнила и любила Митю. Она напустила на свое красивое, облагороженное бестужевскими курсами лицо непреклонно приветливое выражение и приготовилась защищать и нарядное платье, и обещающе шикарное угощение. Тата, лукаво поводя белокурой головкой, пыталась вычитать на лицах, что произошло во время затяжного разговора в кабинете. Понять она не могла ничего. Отец с несвойственной ему живостью обогнал Митю и вцепился в хозяйское место. Тарелку стал вытирать салфеткой — признак отвратительного состояния духа.

Не вдаваясь в психологические тонкости, Митя начал управляться с колбасными изделиями.

— Ну как? — не утерпела Тата.

— Там поглядим, там поглядим...— протянул отец, отхлебнул глоток и поперхнулся. Из темного угла смиренно осенял его крестным знамением Николай-чудотворец. При посещении ответственных гостей профессор обыкновенно прятал икону в граммофонную этажерку, а на этот раз забыл.

— Считаю долгом предупредить вас, Дмитрий Романович, что все мы — убежденные атеисты,— сказал он.

— А мы с Таткой у попов венчаться не сговаривались,— отозвался Митя.

— Убежденные атеисты,— продолжал Константин Яковлевич, пропуская мимо ушей Митино замечание.— А иконка — любопытный предмет крепостного творчества. Лик мазан и перемазан, а рамка, жития, по словам знатоков,— верный семнадцатый век. Московская школа. Особенно правые клейма.

— Если загнать, на приданое хватит. Я смеюсь,— сказал Митя.

Но и эту шутку Константин Яковлевич предпочел не услышать.

— Дочери и не замечают ее,— продолжал он.— Мать иногда перекрестится, да и то по инерции. Прогрессистка.

— Перестань, Костик,— сдержанно возразила она.— Я верю в добро прошлого. Иконка драгоценна не клеймами, а тем, что этой иконкой благословила нас с тобой бабушка. Дай бог, чтобы Наташа прожила также...

— Насчет Наташи еще поглядим,— живо перебил Константин Яковлевич.— Поглядим... Там поглядим...

Реплика главы семейства не обещала ничего хорошего. Но Митя весело подмигивал Тате, выпил семь чашек чаю подряд и отбыл...

А темпы на стройке нарастали. И на Кропоткинскую Мите удалось вырваться только через две недели, да и то поздно вечером, когда дисциплинированные дочери Константина Яковлевича чистили зубки и готовились ко сну.

Трудно было придумать более неподходящее время для визита. День был черный — канун похорон Сергея Миро-

новича Кирова. Константин Яковлевич с утра до поздней ночи просиживал у динамика. Доведенный до умопомрачения траурным стоном гобоев и виолончелей, он ждал объяснения нелепого, страшного несчастья. Ничего вразумительного не передавали. В газетах печатали телеграмму Горького «Больше бдительности!», стихи Демьяна Бедного «К ответу!», стихи Голодного «Проклятье!». Ползли зловещие слухи: когда преступников везли на допрос, машину сбил подосланный врагами народа грузовик, и убийцы разбежались. Шептали, что в Кремле обнаружены бомбы с часовым механизмом.

— Здравствуйте, Константин Яковлевич! — гаркнул Митя.— Вот ведь несчастье. А? В Пятом доме были?

Профессор уставился на жениха, как на вурдалака. Рука Мити повисла в воздухе. Сообразив, кто перед ним, Константин Яковлевич запрокинул голову так, что Мите почудилось, будто она лежит на тарелке.

— Я прочел ваш меморандум,— отчеканил профессор.— Содержание его показывает, что вы либо не полностью излечились от мозговой травмы, либо, что значительно печальней, находитесь в оппозиции к основным установлениям нашего общества. Не входя в исследование причин...

Музыка оборвалась. Диктор металлическим голосом прочитал извещение. Высшая коллегия Верховного суда в Ленинграде разобрала дело о белогвардейских террористах. Тридцать девять белогвардейцев были обвинены в подготовке и организации террористических актов против работников Советской власти. Чудовищные замыслы злодеев были очевидны. Коллегии хватило одного дня, чтобы опросить тридцать девять обвиняемых. Приговор оказался настолько неоспоримым, что на следующий день тридцать семь человек были расстреляны.

Передача закончилась. Константин Яковлевич некоторое время смотрел на Митю. Митя — на Константина Яковлевича.

— Покорнейше прошу забрать ваше послание,— обрел наконец дар речи профессор.

— Подписали? — спросил Митя.

— Вы что, серьезно спрашиваете?

— Как же, вы же обещали!

— Надеюсь, у вас достанет благоразумия понять: ни вы мне ничего не вручали, ни я вам ничего не обещал. Ваше послание до того безрассудно, что я был вынужден консультироваться с дочерью, Наташа потрясена. Оказывается, вы ее, мягко говоря, водили за нос!

— Где Тата? — спросил Митя упавшим голосом.

Снова оборвалась музыка. Динамик щелкнул, металлический голос прочитал новое извещение. Высшая коллегия Верховного суда в Москве разобрала дела о белогвардейских террористах. Московские белогвардейцы тоже готовили чудовищные акты против работников Советской власти. Московская коллегия оказалась не менее оперативной, чем Ленинградская. За день были опрошены тридцать два злодея и двадцать девять расстреляны.

— Правильно,— тупо проговорил профессор.

— Где Тата? — повторил Митя.

— Она просила меня сообщить вам,— произнес профессор торжественно,— не искать с ней встречи и не звонить на почтамт. Это ни к чему не приведет. Покорнейше прошу...

— Как не искать? — не понял Митя.— Почему не звонить? Где Тата?

Новый удар совсем замутил его израненную душу. Он бросился в столовую. Таты не было. Татина мать смотрела на него виновато. Он прошел в спальню, зажег свет. Таты не было. Он распахнул двери в детскую. Татины сестренки с ужасом глядели на него из-под одеял. Он заглянул в шкаф, где Тата шутя пряталась в те блаженные дни, когда заставляла его читать «Анну Каренину». Ее не было и в шкафу.

Оставляя за собой открытые двери, Митя вышел в коридор, спустился по лестнице, перешел снежную улицу, увешанную траурными флагами, сел на ту самую ступеньку, на которой сидел давным-давно, тысячу лет назад. Где-то стонала безнадежная, разрывающая сердце музыка. На четвертом этаже погасли два окна. А Митя сидел, сидел и сидел и не понимал, как ему теперь жить и что делать...

23

Он подкарауливал Тату на Кропоткинской, звонил утрами и вечерами на работу. Отвечали три женских голоса. Одна четко рапортовала: «Коклюшкина у аппарата». А дальше от нее ничего невозможно было добиться. Другая, сняв трубку, долго огрызалась на покупателя, который клянчил новые марки с портретами летчиков-героев: «А я говорю, нету... И Водопьянова нет... Нету и не будет... И Молокова нету... Надо было раньше приходить... Але!» Третья начинала разговор вопросом: «Лешка, ты?» — а про Тату сообщала: «Она на больничном».

Ничего не добившись, Митя отправился на почтамт. Возле Татиного окошка толклись коллекционеры, озабоченные квартблоками, беззубцовками и водяными знаками «ковер». Втершись в гущу филателистов, Митя незаметно направил разговор на Тату. Оказалось, все ее знали, скорбели о ней и презирали бестолковых сменщиц. Чистенький старичок лет шестидесяти отозвал Митю в сторону, сообщил, что Тата, обольщенная знаменитым собирателем марок, драматургом, легла на аборт, и поинтересовался, нет ли у Мити беззубцового Горького номиналом в тридцать пять копеек.

Митя едва сдержался, чтобы не ударить старикашку. В глубине души он предполагал вероятность такого оборота событий, но слышать пакостные сплетни было нестерпимо.

Какое предательство! Как она смела не посоветоваться, какое имела право решать одна? Ведь ребенок не только ее, ребенок Митин! А она его убила, зарезала, не дала ему посмотреть, что такое солнышко! А еще велит Ваську наказывать, преступница!

Митя решил выбросить Татку из головы, подтянуть дисциплину комсомольских бригад и совершить ночной налет легкой кавалерии на женское общежитие.

А дней через десять ни с того ни с сего он подошел к Художественному театру и купил с рук билет. Как неприкаянный, толкался он по кривым, похожим на штольни коридорам, пялил глаза на портреты артистов и вспоми-

нал, что рассказывала про них Тата. Потом отправился в партер, сел в кресло Станиславского и сидел, пока не согнали.

Вскоре после Нового года, в лютый мороз, он вырвался на почтамт. Та же кучка чокнутых филателистов толпилась у окошечка с кляссерами, пинцетиками, зубцемерами и каталогами Ивера. Тот же старичок выпрашивал беззубцового Горького.

А за окошечком работала Тата. Митя не видел ее, но почему-то знал, что она там. Он простоял почти полчаса, увидел издали руку, только руку с кружевным манжетиком, только нежные быстрые пальчики и чуть не вскрикнул. В тот же вечер он отправился к заведующему личным столом, положил перед ним покаянное заявление Чугуевой с резолюцией начальника шахты, свою петицию, адресованную Первому Прорабу, и книжку, написанную Гошей.

Товарищ Зись внимательно прочел документы и сказал:

— Придется разбираться. Ступай.

На другой день Митя позвонил Тате. Тата сказала:

— Приходи.

И положила трубку.

Митя долго ждал на морозе у пустыря, где недавно высилась церковь Флора и Лавра. Тата подошла после работы и стала рассматривать его, словно старинную фотографию, серьезными, как всегда, глазами. На ней были все то же коротенькое манто с высоким воротником, мальчишеская ушанка. Но что-то изменилось в ее облике, старило ее. Митя вгляделся и понял — у нее постарели губы. Едва заметные морщинки в углах рта омрачали лицо тенью бывших и будущих страданий.

— Пошли? — спросила она.

— Пошли,— сказал он.

Они направились по бульвару вечным своим маршрутом.

Тата коротко доложила, что лежала в больнице, что операция оказалась тяжелой и детей у нее никогда не будет. К Мите она никаких претензий не имеет, и он не должен ни о чем беспокоиться. Необходимость встреч и

телефонных звонков полностью отпадает. Она так и выразилась: «Полностью отпадает».

Митя возмутился. Что значит отпадает? Он сделал все, что требовала Тата, послушался ее, предъявил документы Чугуевой товарищу Зисю, записался на комнату в общежитие женатиков, на аборт он не сердится, а дети — неважно, вон, у Клавдии Яковлевны своих нет, так берут приемышей и живут — дай бог каждому.

Тата морщила гладкий лобик, будто ей делали больно. А Митя говорил и говорил, что он без нее не может, что он ходил в Художественный театр один и будет ходить с ней, сколько она захочет, что надо начинать все сначала и что она обязательно выйдет за него замуж...

— Это исключено, Митя,— сказала Тата.

Они прошли еще немного молча. Митя остановился. А она тем же шагом — не медленней, не быстрей — пошла к трамваю.

В это последнее свидание они не поздоровались и не попрощались. Так и ко всем нам забегают призраки счастья — не здороваясь и не прощаясь...

Недавно я встречался с Натальей Константиновной. Несмотря на пенсионный возраст, она не потеряла былой живости, активничает в дачном поселке, разводит гладиолусы, показывает семейный альбом и вспоминает, как в детстве называла себя Татой. И вслед за ней взрослые тоже стали величать ее Татой.

Митю она не простила за то, что он пытался мелко обманывать ее. Замуж она не вышла и, где теперь Митя, не знает. «Все-таки я благодарна ему,— призналась она мне при прощании.— Его любовь сделала меня лучше. Если будете писать, отметьте эту деталь, пожалуйста».

24

Митя и не предполагал, что способен с таким исступлением мучиться по какой-то блажной девчонке. Как только наступала передышка, как только шахта возвращала его самому себе, немедленно возникало рядом видение Таты и

следовало за ним по пятам в электричку, в столовку, в общежитие.

К счастью, темпы все возрастали, слишком долго мучиться было некогда.

В мае прошел слух, что Платонова награждают Почетной грамотой ЦИК за обеспечение большевистских темпов в работе и за своевременное окончание строительства первой очереди. Комсорг развеселился и на бюро изобразил, как Осип показывал фокусы.

На пятнадцатое мая было назначено открытие Метрополитена. Накануне пуска, перед торжественным собранием, спустили распоряжение прокатить на метро лучших строителей.

Смутное чувство гордости и печали испытывал Митя, когда молочно-белые изразцы станции осветились скользящим тающим лучом, когда по рельсам потекли серебряные струйки и из черной трущобы выплыл поезд с надписью «Сокольники», состоящий из двух красных вагонов под номерами 001 и 002. Новенькие, блестящие, словно водой облитые вагоны с глубоким выдохом осели на тормозах, замерли у перрона, и невидимая сила, как по команде, раздвинула все двери сразу.

Митя вошел, ощущая ногами холостое вращение мотора. Двери захлопнулись. Поезд приемисто набрал скорость. В зеркале окна вдоль ребристых тюбингов мчался прозрачный двойник Мити. С умопомрачительной быстротой струились по тоннелю плети гудронированного кабеля, и через равные промежутки времени в черноте выстреливали электрические лампочки. Лебединые изгибы никелированных стоек и поручней удваивались в бемском стекле. Мягкие сиденья вкусно пахли новыми сандалиями.

Девочки ахали, некоторые плакали, пожилые украдкой крестились, парни пытались запевать. Губастая хихихалка обняла Митю. Он не удивился, поцеловал ее. Она рассмеялась, он тоже.

Через несколько минут поезд окутало розовое облако. Строители вышли полюбоваться делом рук своих. Инженер Бибиков остановился на середине перрона, оглядел

мраморные стены, каменный паркет, розовые грани колонн и произнес:

— Не метро, а термы Домициана!

А Митю словно громом ударило. Вот тут он крутился ночью в бадье, вот тут в грозу в кромешной тьме пробиралась к нему по швеллеру Васька. Где она теперь? Как он посмел забыть о ней? Почему не наведался в отдел кадров, не узнал о ее судьбе? Неужели любовная канитель так заморочивает голову?

Девчонка, обнимавшая его, работала шлифовщицей на мраморе. Митя спросил, знает ли она Чугуеву. «Это у которой нос на двоих? — улыбнулась хихикалка.— Конечно, знаю. У нас все ее знают!» Оказывается, Васька еще две недели назад работала на облицовочном заводе под Москвой. Потом ее или отозвали, или она сама уволилась. Подружки-шлифовщицы тоже не знали подробностей. Работала Васька на «отлично», потом перестала являться в смену. И с квартиры выписалась.

«Ладно,— подумал Митя,— увидимся на торжественном собрании — узнаю, как у нее дела».

Торжественное собрание совершалось в Доме союзов. Митя захватил место в одном из первых рядов, неподалеку от инженера Бибикова. Партер Колонного зала, боковые места за балюстрадой, хоры под потолком — все было до отказа забито проходчиками, кессонщиками, водопониженцами, бетонщиками, камеронщиками, маркшейдерами, облицовщиками, хозяйственниками и итээровцами.

Уже сияла в алом нимбе над бюстом Ленина огромная, непривычная москвичам буква М, уже нацелились на трибуну переносные юпитеры и железные чемоданы кинохроники.

Время начала торжества наступило и прошло. Стол президиума пустовал. Молодежь нетерпеливо, как в театре, аплодировала. Пожилые шикали. Наконец ряды президиума стали лениво заполняться.

Митя подозвал Круглова, спросил, известно ли ему что-нибудь о Ваське.

— Разве она не здесь? — удивился Круглов.

— Нет.

— Так что же ты раньше...— Круглов едва сдержался, чтобы не выругаться.— Где же ты раньше был?

— Я у Зися спрашивал...

— Финтишь, комсорг! За Ваську драться надо, напролом надо идти! Заморочила тебе твоя милашка голову.

— Заткнись! — Митя сжал кулаки.

Он собирался втолковать Круглову, какая Тата принципиальная, как одержима стремлением к правде, хотел сказать, что спорил с Зисем. Заведующий личным столом говорил, что всех ударников Колонному залу не вместить, а Митя доказывал, что Чугуеву надо вместить обязательно. Но было поздно, Абакумов начал доклад.

Митя слушал плохо. Тоскливый взгляд его задержался на Бибикове.

Инженер, украшенный галстуком «кис-кис», сидел за балюстрадой и изображал усердного слушателя.

«Трусит,— подумал Митя.— Боится, что на трибуну вытащат, заставят читать докладную... Где же Васька? Или спит без задних ног, или в ночную вкалывает... И в метро ее не покатали, и в зал не пустили. А она считает, что так и надо: недостойная. Каинова печать навеки... Вот что страшно!»

Отягченный думами, Митя не сразу услышал радостный гул. И только когда захлопали сиденья и люди здесь и там стали подниматься с мест, когда кто-то крикнул: «Да здравствует Сталин!» — он вскочил и увидел вождя.

Рядом со Сталиным стояли Калинин, Молотов, Ворошилов...

Овации нарастали. Хлопал президиум, хлопала губастая девчонка, хлопал Круглов. Хлопал Николай Николаевич Бибиков, спрятавшийся за колонну, чтобы его не заметил Первый Прораб. И Митя, не выносивший обычаев низкопоклонства, на этот раз до боли отбивал ладони, до хрипоты кричал «ура!». Он был уже не Митей, не Дмитрием Платоновым, не комсоргом 41-бис, он стал частью заполнившего весь зал восторженного, обожающего многоли-

цего тираннозавра, готового вершить великие подвиги и великие беды.

Под грохот аплодисментов Сталин вышел из-за стола президиума и, чуть выворачивая наружу носки мягких сапог, направился к трибуне. Митя удивился. Сталин был невысок, гораздо ниже, чем выглядел на портретах. Не доходя до трибуны, он остановился. Он стоял с блокнотным листочком в руке и ждал тишины. Ждал, не выражая ни спешки, ни нетерпения, как ждут трамвая на остановке.

В грохоте оваций трепетали на люстрах радужные звездочки. Бесчисленные огни остроконечных лампочек плавились в металлически-волнистых искусственных окнах, бриллиантовыми подковками отражались в новобрачной белизне колонн.

Сквозь шум до Мити донесся голос:

— Товарищи! Подождите авансом хлопать. Вы же не знаете, что я скажу.

Эти сдобренные пряным восточным акцентом слова в торжественном сиянии зала прозвучали до того подомашнему, с такой неожиданной мудростью, что все смолкло.

— Я имею поправку, продиктованную теми товарищами, которые сидят вот здесь,— доверительно продолжал Сталин. Он красиво обвел бумажкой полукруг, и Митя не понял, президиум имеется в виду или все метростроевцы.— Дело сводится к следующему. Партия и правительство наградили за успешное строительство Московского метрополитена,— на слово «успешное» Сталин нажал, проговорил крупным шрифтом,— одних орденом Ленина, других — орденом Красной Звезды, третьих — орденом Трудового Красного Знамени, четвертых — Грамотой Центрального Исполнительного Комитета Советов.

Вождь замолчал. Митя всем существом своим ощутил тревожную тишину зала. Ему почудилось, что великий человек не знает, как продолжать.

— Но вот вопрос,— после длинной паузы заговорил Сталин,— а как быть с остальными, как быть с теми товарищами, которые работали не хуже, чем награжденные,

которые клали,— слово «клали» он выделил крупным шрифтом,— клали свой труд, свое уменье, свои силы наравне с ними? Рожи у вас одинаковые...

Сердце Мити захолонуло. Вождь почти буквально повторял его мысли. Глубокое чувство обожания заполнило душу Мити, в носу защекотало... «Эх я, дурень,— обругал он себя.— Бегал по лободам, по трусливым профессорам, по бибиковым. Вот кому надо было писать! Да и писать не надо. Просто переслать Васькину покаянную бумагу. Он все поймет, он заступится!»

— Что же делать? — спросил Сталин озадаченно.— Одни у вас как будто бы рады, другие недоумевают.

Было тихо. Замерли хрусталинки на люстрах. Только одна шалила, подмигивала Мите то бирюзой, то изумрудом.

— Так вот эту ошибку партии и правительства мы хотим поправить перед всем честным миром,— снова заговорил Сталин. Он так и не заходил на трибуну, а стоял рядом с ней, весь на виду.— Я не любитель говорить большие речи, поэтому разрешите зачитать. За успешную работу по строительству Московского метрополитена объявить,— он выделил это слово очень крупным шрифтом и упрямым акцентом,— от имени Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР,— эти слова просыпались петитом,— благодарность (крупный шрифт) ударникам, ударницам и всему коллективу инженеров, техников, рабочих и работниц Метростроя.

Переждав аплодисменты, Сталин обернулся к президиуму и раздельно, словно объявляя выговор перед строем, проговорил:

— Сегодня же надо провести поправку о том, что объявляем благодарность всем работникам Метростроя.

Начали было хлопать, но Сталин капризным мановением руки остановил шум.

— Вы мне не хлопайте. Это решение всех товарищей.

И, выворачивая наружу носки, пошел на свое место.

В зале бушевало пламя оваций. Временами оно спикало, и утомленный Бибиков косился из-за колонны, удобно ли прекратить хлопать, а из зала словно подбрасывали валежник: «Да здравствует Сталин!», «Великому Сталину — ура!» — и снова занимался сухой треск, и утихающий было костер аплодисментов с новой силой поднимался до потолка. Николай Николаевич опасливо поглядывал на дрожащие люстры и перекрытия зала. А Сталин, будто не слыша, обменивался записками с Первым Прорабом, шептался с Калининым.

Наконец он решительно встал и, не дожидаясь тишины, начал:

— И вторая поправка, я прямо читаю: за особые заслуги в деле мобилизации славных комсомольцев и комсомолок на успешное строительство метрополитена, наградить орденом Ленина Московскую организацию комсомола.

Взорвались аплодисменты такой силы, что казалось, обрушится потолок. Трудно было представить, что люди могут производить такой грохот. Все встали. И Сталин стоя аплодировал вместе со всеми.

— Эту поправку тоже надо сегодня провести и завтра опубликовать,— приказал он сурово и, спохватившись, улыбнулся: — Может быть, товарищи, этого мало, но лучше мы придумать не сумели.— Он еще раз мило, пряча в усы улыбку, добавил: — Если что-нибудь еще можно сделать, то вы подскажите.

«Да что же еще можно сделать? — Митя не сводил глаз с обожаемого лица.— Разве можно придумать что-нибудь лучше?»

— Да здравствует дорогой Ста...! — воскликнул он и сорвал голос.

Овация кипела несколько минут.

— Товарищу Сталину — комсомольское ура! — кричали ребята сверху, и все аплодировали.

И аплодировал Сталин.

— Гениальному вождю народов — Сталину — ура! — кричали из первых рядов, и все аплодировали. И Сталин аплодировал рассеянно.

Ворошилов наклонился к вождю и тихо напомнил:

— Они тебе аплодируют.

Сталин нахмурился:

— Ну и что же? Они — мне, а я — им.

И продолжал хлопать.

Наконец стали садиться. Инженер Бибиков почти рухнул на стул.

А Сталин спросил:

— Как вы думаете, хватит поправок?

Все опять встали, захлопали...

Поздно ночью Митя переписал письмо о Чугуевой на свежую бумагу и вложил в конверт. Сперва он хотел написать: «Великому, любимому вождю всех народов...» — но, подумав, написал просто: «Кремль, товарищу Сталину». Получилось слишком коротко. Митя почесался, подумал и прибавил: «Иосифу Виссарионовичу».

Рано утром, перед утренней сменой, письмо было опущено в обыкновенный почтовый ящик.

1973 г.

Литературно-художественное издание

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

АНТОНОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

ВАСЬКА

Повесть

Ответственный редактор
В. М. Писаревская

Художественный редактор
Н. З. Левинская

Технический редактор
Л. С. Стёпина

Корректоры
Т. А. Нарышкина и Е. В. Туманова

ИБ № 11899

Сдано в набор 02.04.90. Подписано к печати 31.08.90. Формат 84×108 1/32. Бум. тип. № 2. Шрифт обыкновенный. Печать высокая. Усл. печ. л. 11,76. Усл. кр.-отт. 13,02. Уч.-изд. л. 11,35. Тираж 100 000 экз. Заказ № 4453. Цена 75 к.
Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственого комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.
Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Госкомиздата РСФСР. 127018, Москва, Сущевский вал, 49.
Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот».

К ЧИТАТЕЛЯМ

ОТЗЫВЫ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ПРОСИМ ПРИСЫЛАТЬ ПО АДРЕСУ: 125047, МОСКВА, УЛ. ГОРЬКОГО, 43. ДОМ ДЕТСКОЙ КНИГИ.

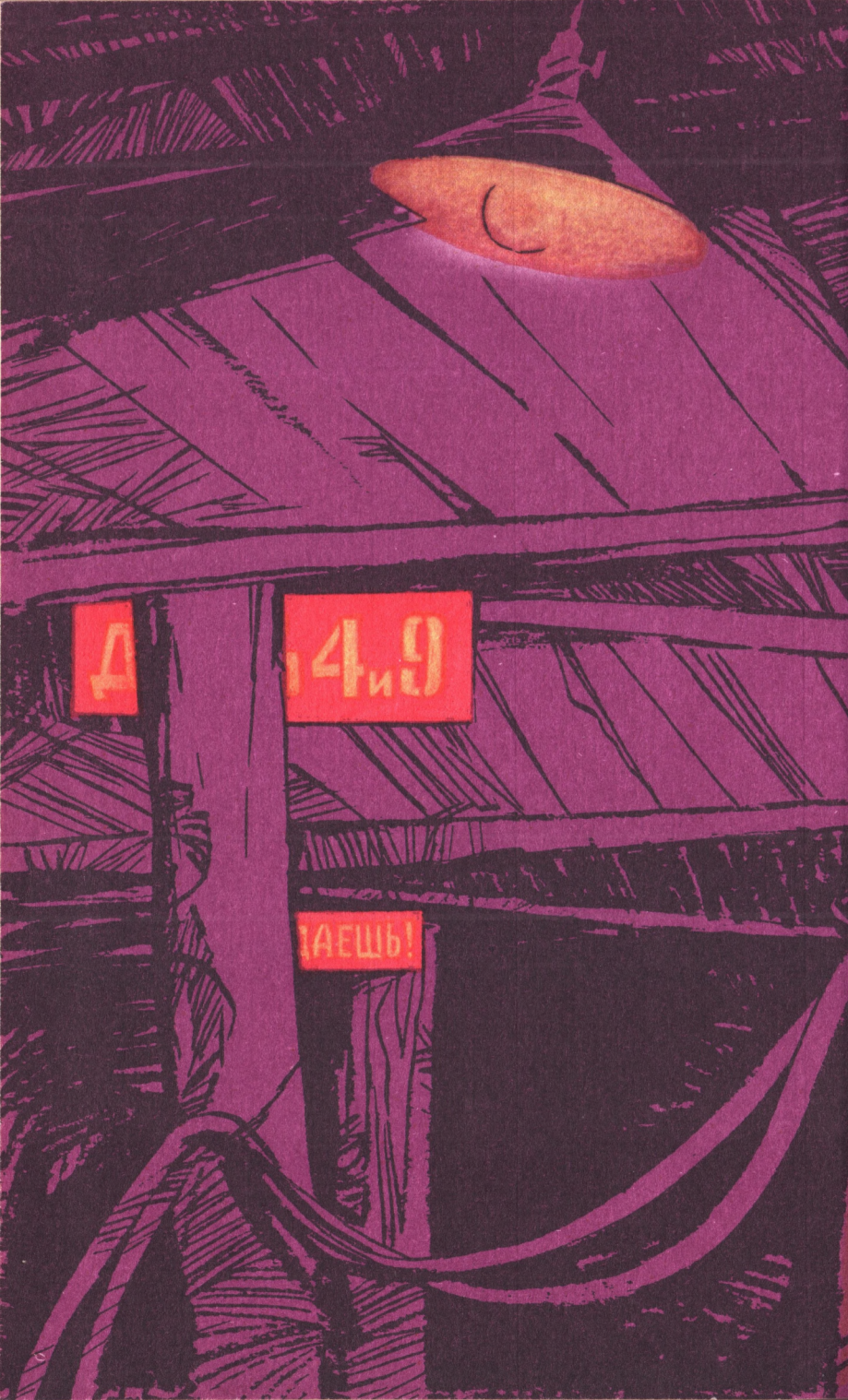
Антонов С. П.

А72 Васька: Повесть/Художн. О. Коминарец.— М.: Дет. лит., 1990.—222 с.: ил.

ISBN 5-08-001557-8

Повесть о комсомольцах, об энтузиазме строителей первой очереди Московского метрополитена. Автор показывает, как молодым героям повести в трудные тридцатые годы приходится решать не только производственные, но и нравственные проблемы.

А $\frac{4803010201-358}{М101(03)-90}$ 144–90 ББК 84Р7


Д
4и9
ЛАЕШЬ!

75 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«Детская литература»

СЕРГЕЙ АНТОНОВ • Васька